

ISS № 0130-3600

04905940
8032010033



ЛИТЕРАТУРНАЯ
ГРУЗИЯ

8

1985



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

МИХАИЛ КВЛИВИДЗЕ. Стихи. Перевели Га- лина Павловская, Марк Лисян- ский, Наталия Соколовская, Еле- на Николаевская, Давид Самой- лов	3
ДАВИД ДЖАВАХИШВИЛИ. Рассказы. Пере- вели Игорь Штокман и Эмма Пи- воварова	8
ГИВИ АЛХАЗИШВИЛИ. Стихи. Перевели Ирина Мельникова и Тамара Па- палашвили	40
КАРЛО ТАБАТАДЗЕ. Рассказы. Перевела Ли- ана Татишвили	44
ОТАР ШАЛАМБЕРИДЗЕ. Стихи. Перевела Светлана Кокорева	95
ИНДА ДАДИАНИ. Стихи	97
ГЕОРГИЙ ГРИГОЛИА. Взятка. Рассказ	100

НАВСТРЕЧУ XXVII СЪЕЗДУ КПСС

ДЖЕМАЛ МЕХРИШВИЛИ. Контурь буду- щего	114
--	-----

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ТАМАЗ ЧИЛАДЗЕ. Из книги «Древнейший язык любви»	122
--	-----

8

1985

БОНДО АРВЕЛАДЗЕ. Поэт и гражданин. К
100-летию со дня рождения Ваана
Терьяна

ВЛАДИМИР ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Проблемы
теории и истории сонета. К итогам симпо-
зиума



169

РЕЦЕНЗИИ

ДИНАРА КОНДАХСАЗОВА. Три триединства . 175
Л. ТИХОНОВА. Сердца связующая нить . 177

ДОКУМЕНТЫ. ПИСЬМА. ВОСПОМИНАНИЯ

Г. БЕБУТОВ. Встречи на всю жизнь. Из воспо-
минаний о Викторе Шкловском . 181
ОТАРИ ДЗИДЗИГУРИ. Письмо в редакцию . 194

ИСКУССТВО

ЭТЕРИ ГУГУШВИЛИ. Мастер художественно-
го слова . 197
АЛЕКСАНДР ЧХЕИДЗЕ. Итальянская опера в
Грузии . 211

ПАМЯТЬ

С. ГВЕЛЕСИАНИ. Короткая, но яркая жизнь . 222
ХРОНИКА 39, 99, 223
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 94

◆
Известному грузинскому поэту Михаилу Квливидзе исполнилось 60 лет.

Редакция журнала «Литературная Грузия» сердечно поздравляет юбиляра и желает ему новых творческих успехов.

◆

Михаил КВЛИВИДЗЕ

ПОЭЗИЯ

Вам не случилось летом поутру
Ловить форель в речном водовороте?
Простое дело, самый легкий труд:
Сидите в тишине, надеетесь и ждете.

Так и поэзия. Быть может, вам знаком
Крутой подъем в ее высоком взлете?
С пером в руке за письменным столом
Сидите в тишине, надеетесь и ждете.

ОТЪЕЗД

Есть грусть особая у каждого вокзала,
На каждой станции нашла она приют.
...Внезапно оживление пропало,
И стало медленным течение минут.

Стою подавленный... Мне эта грусть знакома.
Попало сердце в тесный плен тоски.
(Быть может, я очки оставил дома?
Как нас порой тревожат пустяки!).

Воспоминанья, вновь воспоминанья...
Все мысли спутаны, не разобраться в них,
И словно боль, терзает ожиданье
Того, кто уезжает от родных.

О чем-то просят, машут мне руками...
Прощальный взгляд... И все слилось с толпой...
Под сводом станции, как в строгой, светлой раме,
Тбилиси мой встает передо мной.

С платформы чья-то песня раздаётся.
Простор полей заманчиво широк...
И вот уже — в вагонный тамбур рвется
Степной, бодрящий русский ветерок.



Перевела Галина ПАВЛОВСКАЯ



Ты бродишь, ищешь бесконечно
И сокрушаешься не зря:
Жить только разумом нельзя,
Играя с чувствами беспечно.

Не приучай себя к потерям,
К соблазнам будущих времен.
Когда в победе ты уверен,
Как раз тогда ты побежден.

Когда ты думаешь, что молод,
Что клад душа приобрела,
В тот миг в нее вползает холод,
Тогда ограблен ты дотла!

Перевел Марк ЛИСЯНСКИЙ

ТВОЕ ИМЯ

Я с именем твоим
живу который день.
(Так у меня давно вошло в привычку:
жить ожиданием
и звать ночами тень,
и думы вызывать на переключку).

Душа тоскует по тебе.
Но плоть —
не знаю почему — не рада встрече.
Бесплотная сама,
ты каждый вечер
мне помогаешь боль перебороть.

Мысль о тебе затеплю, как свечу.
Желаньем ты была.

Реальной стала.

На это сил потративший немало,
в желанье вновь
тебя вернуть хочу.

Опять в Ничто!

В надежду!

В мысль!

В мотив!

Как прежде будь — далекой и манящей.
И ожиданьем встречи предстоящей
я стану жить,
дыханье затаив.

ВОСХВАЛЕНИЕ ЗНОЯ

В садах бесшумно закипает зной.
Сверчок поет до самоубиенья.
Плоды граната не приносят тени, —
они от бешеной жары в смятенье,
их заполняет солнцепек сквозной.

И впрямь: царит великая жара!
В тени и под навесом — всюду жарко.
И в честь погоды
с самого утра
я у соседа опрокинул чарку.

Густое марево стоит вокруг,
и кажется, что в печь тебя впинули.
Жара печет не покладая рук,
и плаваются на солнцепеке улы.

Иду и голову прикрыл рукой,
все мысли у меня давно в разброде.
Тишь разлита в полях и за рекой,
но тем слышнее в тишине такой,
как возится теленок в огороде.

И хоть бы обратился кто ко мне!
Неужто же и взрослые и дети

забыли гостя... Голова в огне!
(Возможно ли такое в Имерети?!)



А впрочем, зря волнуешься, поэт.
Ведь написал ты Грузии такое:
«Я от любви к тебе готов сойти на нет...»
Так вот, изволь:

сгори дотла от зноя.

Перевела Наталия СОКОЛОВСКАЯ

ОТЕЦ СОЛДАТА

Бумагу ношу пожелтевшую я:
Она — словно лист увядает осенний...
О, есть ли что горше того извещенья,
Где черным по белому — гибель твоя.

Там сказано скупое, где надо искать
Приют твой последний в грохочущем мире.
Петитом внизу: «форма № 4»...
Взгляну на бумагу и спрячу опять.

Стал стар я и немощен, сын, — сквозь беду
Плетусь я с трудом на приснившийся голос.
Не так далеко та Луганская область,
А я до нее все никак не дойду.

Одно лишь желание в сердце храню:
Очнуться бы вдруг на далеком просторе
И, в камень немой превратившись от горя,
Встать памятником в этом скорбном краю.

Перевела Елена НИКОЛАЕВСКАЯ

1923—1983

Брат мой, ты стал бы сейчас
Шестидесятилетним, —
Дочери и сыновья
Шествовали бы вослед.
Но пуля тебя нашла...
Остановились ветры,

Время остановилось:
Тебе девятнадцать лет.

Бедный мой! В тот самый миг
Остановилось движенье,
Ты, заколдован, попал
В круг недвижных планет,
Где измениться нельзя,
Где отгремели сраженья,
А ты — все мальчик-студент,
Тебе девятнадцать лет.

И если когда-нибудь
Дождемся страшного часа,
И разразится гроза,
И снова померкнет свет, —
Меня уже военкомат
Не призовет из запаса,
А ты пойдешь на войну:
Тебе девятнадцать лет.

Этот прозорливый Марс
Не даст мертвецу покоя,
Под маскою почтальона
Вручая срочный пакет,
И вновь над тобою небо
Разверзнется фронтовое,
Тебе же, мой брат, мой мальчик, —
Тебе девятнадцать лет.

Перевел Давид САМОЙЛОВ



РАССКАЗЫ

ПУСТЫНЯ

МЕНЯ заранее волнует то, что я еще только собираюсь

описать. Как — я еще не продумал толком до конца. Сердцу невтерпеж, а при отсутствии хладнокровия трудно выбрать подобающую форму. Не знаю, что у меня получится, рассказ, очерк или просто охотничья зарисовка, но название-то готово и ничто уже не изменит его: «Пустыня». Как слово, оно необычайно притягательно, о смысловой же точности и говорить не приходится. Все сказано совершенно ясно и понятно. У каждого слова, помимо смысла, есть еще и свой аромат, свое очарование. Для меня достаточно услышать слово «пустыня», чтобы почувствовать на щеках ее горячее дыхание и обжигающий поцелуй. Я люблю ее, как любят невесту, далекую и желанную. Люблю такой, какая она есть, с ее достоинствами и недостатками. Каждая встреча с ней — тихий праздник в моей жизни. Вот и теперь я чувствую себя так, словно готовлюсь к этому празднику. В мечтах эта встреча рисуется точно такой, какой она бывает в действительности. Может, поэтому я волнуюсь так сильно, словно и впрямь сижу за рулем машины, а не за моим старым письменным столом, тщательно изъеденным древесными жучками. Я уже ничего не вижу на нем: ни листков, на которых пишу, ни неровной стопки книг, ни запылившегося обломка редкого минерала, ни длинных перьев фазана и множества отточенных карандашей, стоящих в глиняной вазе, как цветы. Я не вижу даже фотографий моих детей... В открытое окно прокуренной комнаты бесшумно вкрадывается жаркая летняя ночь, усиливая тем самым мою иллюзию: пустыня уже где-то совсем рядом!..

Позади остается непрерывный ряд сел вдоль шоссе, уже не видать высоких гор, покрытых чуть тронутыми

желтизной лесами. Разве что сверкнет багрянцем то тут, то там низкорослое деревце, оживляя дремлющий глаз уставшего за рулем человека.

Дорога наискось пересекает голую долину, затем вьется по просторным пологим склонам и внезапно обрывается на седловине небольшого скалистого хребта.

Там, за хребтом, и начинается моя пустыня.

Подъем под самый конец становится отвесным и опасным. Старенький радиатор пыхтит, как чайник на огне; нервно подрагивает на первой скорости рычаг; руль, словно напуганный близостью пустыни, едва подчиняется мне, пытаюсь увильнуть то влево, то вправо; акселератор горячим утюгом жжет мне ступню... Среди моих спутников царит напряженная тишина. Еще немного! Еще немного! Еще немного! — отчетливо слышу я учащенное биение их сердец, в такт с которым бьется в висках и моя разгоряченная кровь. И вот это «немного» уже позади, машина, подвывая, взбирается на подъем, ее уставший двигатель пыхтит, как распряженный вол, да и пассажиры, расслабившись, облегченно улыбаются. Облегчение огромное, а радость еще больше, поскольку глазам — от края до края — открывается величественный вид.

Первое, что бросается в глаза, это скудость красок, удивительная и чрезвычайная. Хотя это скорее строгость и чувство меры, показатель бесспорного, утонченного вкуса и таланта художника. Какого только цвета не сыщешь в кажущейся скудости ее грандиозной палитры! Вглядываешься и... вдруг понимаешь, что поразило тебя богатство, а не бедность цветовой гаммы. Цвета так мастерски сочетаются на полотне, что глаз не улавливает перехода одного в другой. Вот весь секрет. Преобладает все же серый и горчичный, или охра. Это основной, главный тон пустыни. В полдень здесь такого цвета даже небо; зато по утрам оно такое синее, как нигде; вечерами же становится сиреневым, фиолетовым, затем чернеет... И свет звезд здесь какой-то особенный, зеленоватый и немигающий. Даже само солнце несколько раз за день меняет свою окраску: на восходе оно красное, сплошь кровавого цвета; затем постепенно белеет и так раскаляется, что глаз на него не поднять

и цвета, естественно, не определить; постепенно оно желтеет и, склоняясь к горизонту, сияет как мяч, отлитый из червонного золота; скатившись книзу, внезапно вбирает в себя красноватый оттенок, чтоб под конец темно-оранжевым светящимся пятном оплыть, затечь за горизонт, затечь, чтобы назавтра вновь повторить всю эту многоцветную метаморфозу...

Беспределен, поистине беспределен и бесподобен наш мир! Это с особой силой ощущается в пустыне. Может, поэтому тянуло сюда встарь монахов, отринувших мирскую суету. Удаляясь от пестроты, порочности и низости людского племени, они «надежно» укрывались в кажущейся простоте и однообразии пустыни. Но от себя не скроешься, и я сомневаюсь, чтобы хоть один из них нашел здесь то, что искал. В конце концов жизнь и в пустыне идет все тем же чередом, что и везде, может, чуть иначе. Ощущение этой, хоть и небольшой разницы временами становится такой же необходимостью для меня, как весна для природы.

И вот я снова в пустыне. В машине, кроме меня, еще трое мужчин и две собаки. Цель поездки на сей раз — охота, и беседа не выходит за узкие рамки этой темы.

— Как-то раз я, не сходя с места, подстрелил пять куропаток! — хвастает кто-то на заднем сиденье.

— Да будет тебе! — в возгласе одновременно слышатся и восторг, и недоверие.

— Спросите у Мито, если не верите!

— Лиса призвала в свидетели свой хвост... — смеются остальные.

...А вокруг такая удивительная красота!

Раннее утро. Синее-пресинее безоблачное небо с трепетом ожидает появления с востока, из-за гряды холмов, солнца. В прохладном воздухе ощущается какое-то подобие ветерка, под которым едва-едва, таинственно шелестит сухая трава. Этот звук похож на шепот, ночной шепот злых или добрых духов пустыни, срок пребывания которых здесь уже истек и они как бы с сожалением готовятся к дальней дороге...

Восходит солнце — налитый кровью глаз свирепого и беспощадного владыки пустыни. Шепот смолкает. Все вокруг притихло в тягостном ожидании сурового и неминуемого приговора...



Где я только не видел восхода солнца — этого удивительного явления: в горах и на море, в лесу и в долине, не счесть — сколько раз, но никак не привыкну к этому каждодневному и обыденному зрелищу.

Полыхая пламенем на небе, постепенно подымается огромное светило. Смотрю и дивлюсь, что одно из грандиознейших явлений природы происходит так тихо, так спокойно, так просто. И думаю: да, человеку следует поучиться простоте, как, впрочем, и всему остальному, у природы.

— Сегодня будет жарко, — замечает кто-то за моей спиной.

— Вот и отлично, — радуется другой, — куропатки укроются в сырых оврагах, отыскать их будет легче.

До моего слуха как бы издалека доходят обрывки разговора об охоте, шутки, смех...

— Говорят, нынче много куропаток.

— Дай-то бог!

— Твоя сука хорошо работает?

— Потрясающе!

— А вы слышали, чтобы кто-нибудь бранил свою собаку?

— Поезжай налево! — подсказывает сидящий возле, и я, как солдат, не задумываясь, подчиняюсь его указу.

Место ровное, и мне не приходится заботиться о выборе дороги, о переключении скоростей... Мягко и бесшумно катится машина по равнине, поросшей сухой, душистой травой. Ничто не мешает сладостному и приятному забытию. Только тогда я стряхиваю с себя оцепенение, когда дорога сворачивает на пологий спуск, изрытый глубокими оврагами. Нога непроизвольно жмет на тормоз. Машина останавливается. Едва открываются двери, как собаки мгновенно выскакивают из машины. Выходим и мы, с наслаждением потягиваемся, усталые от долгой езды, и внимательно оглядываем голую окрестность: гряды холмов, усеянных камнями и поросших терновником; сухие, безводные овраги с ухабистыми склонами; скалистые хребты, похожие на развалины старой ограды и местами поросшие карликовым можжевельником или же украшенные какими-то химе-

рами, высеченными из камня временем и непогодой. Где-то меж ними затеряны развалины монастыря, настолько слившиеся с причудливой местностью, что невозможно взглянуть их с первого же взгляда просто невозможно.

До меня, словно опившегося дурманом, издалека доносятся голоса охотников, суесящихся возле меня: кто собирает ружье и в нетерпении никак не может справиться с этим несложным делом, кто копается в рюкзаке в поисках завтрака или еще чего-то... Собаки в неменьшем нетерпении сиуют взад-вперед, дрожат от азарта, скулят, роют землю... Постепенно и меня заражает этот общий нетерпеливый настрой. Наверняка знаю, что спешить некуда и нечего, и все же не могу взять себя в руки, волнуюсь, тороплюсь и нервничаю...

— Ну, с богом! — слышится чей-то возглас, и неоконченный завтрак торопливо убирается.

Идем туда, где глубже овраги, где высятся хребты. Собаки уже бесенятами шастают в кустах терновника и мжжевеличника и ищут, остервенело ищут эту прекрасную охотничью дичь — так называемую каменную куропатку.

Начинается охота, начинается!

Неужто я и вправду в пустыне, или все это плод моего взбудораженного воображения?!

Хотя что толку уточнять это, когда я так отчетливо, вживе вижу все, что вокруг творится. Вот этот курцхаар ловчее того пойнтера — стало быть, хозяин не преувеличивал, — без колебаний входит он в терновник, ищет быстро и энергично. Эх! И у меня была когда-то своя легавая, теперь же я полностью завишу от других. Трудно держать собаку на восьмом этаже. Чем дальше, тем больше растет город, тем больше удаляется человек от природы. В постоянном, неумолчном шуме и сумятице множество самых простых вещей навсегда погружается в мутный омут забвения... А тут словно все вымерло, давая мысли широкое раздолье. Идешь и отчетливо слышишь свой пульс, свое дыхание, свой шаг. Останавливаешься — и могильная тишина мгновенно воцаряется вокруг. Благодаря этой внезапной тишине остро чувствуешь жизнь в своем теле, словно врач, прислушиваешься к ней... Что может быть проще и желаннее?

Солнце уже ослепительно сияет на небе.

Прошло, оказывается, немало времени, а куропаток все нет и нет. Медленно гаснет радость охоты, слабеет вера в удачу. И у собак уже поникли уши, да и во, с меньшим тщанием обнюхивают не каждый куст. Разочарованные охотники сторонятся склонов, держась подножия холмов. Все вымерло здесь! За столько времени не только ни одного зайца, даже гюрзы не встретили, обленившейся и обессиленной, беспомощной и неопасной гюрзы... Куда же кануло то время, когда здесь почти на каждом шагу можно было встретить все признаки полнокровной жизни?! Неужели вся пустыня, подобно монастырским развалинам, обратилась лишь в мертвый памятник чему-то некогда существовавшему и ныне сгнившему? Куда бежать от тяжести грусти, навалившейся при виде этого мертвого царства? Куда скроешься, где спрячешься от нее?..

Ноги почти не слушаются меня, отчаяние сковывает тело, затрудняет дыхание; с каждым шагом сердце, до краев исполненное грусти, покрывается все новыми ранами...

— Что с тобой? — спрашивает хозяин собаки.

— Устал, — вру я и рывком сажусь на землю.

— Нашел время!

— Ступайте без меня, я не заблужусь.

... И вот я один в своей пустыне.

Одиночество усиливает ощущение печали, и я не стараюсь ее рассеять. Да и какой смысл? Причина-то останется причиной.

Солнце уже отклонилось от зенита. Не так жарко, как должно бы. Неужели и о зное здесь приходится мечтать? Тогда это конец.

Вокруг все та же тишина и пустота. Никаких признаков жизни, если не считать самого меня, что не так уж мало, хотя и не много.

Я собираюсь с силами, встаю и тупо продолжаю идти, даже не зная — куда. Слева от меня, невольно привлекая к себе внимание, появляются монастырские развалины. Веруй я в бога, без размышлений свернул бы туда, смиренно преклонил бы колени под треснувшей аркой молельни и долго, жарко молился.

Пытаюсь ускорить шаг, но сил на это у меня ^{уже} нет, измученный, продираюсь я сквозь кусты ^{терна}. И тут как раз под одним из кустов слышится ^{какая-то} тихая возня, чувствуется какое-то напряжение. Может, и это показалось? Обратившись в слух, я застываю на месте, едва сдерживая невесть откуда взявшиеся силы. Все напряженнее становится тишина вокруг, все тяжелее воздух и вдруг... Что-то взрывается у меня под ногами, перламутром искрящийся фонтан бьет из кустов и шумной ракетой распускается на фоне неба...

Машинально вскидываю ружье, стреляю одновременно с обоих стволов и лишь потом прихожу в себя... Куропатки взлетели, куропатки! Целая стая куропаток! Большая стая! Все вокруг вдруг ожило, зашевелилось, заблестало, зазвучало...

Откуда-то выскакивает испугнутый шумом заяц и торопливо улепetyвает подальше от греха по каменистому склону... Вот шумно вылетает из терновника замешкавшаяся и отбившаяся от стаи куропатка и, молнией прорезав небо перед моими глазами, мгновенно исчезает... Я же, вместо того чтобы взять на мушку хоть какую из них, недвижно стою на месте, даже не перезарядив ружья, и стараюсь унять свое радостно возбужденное сердце. Видел бы меня кто из охотников, непременно поднял бы на смех.

Издали уже доносится будто насмешливое кудахтанье распавшейся стаи.

С трудом, наконец, успокоившись, быстро поднимаюсь по склону. Я уже точно знаю, где затаились мои куропатки. Подойду, вновь испугну их одну за другой и буду любоваться, любоваться этой красой. Парочку подстрелю, потом осторожно подниму их, тяжело рухнувших оземь, нежно поглажу перья и удостоверюсь, что все это произошло наяву. Это усилит охотничий азарт, кипящий в моей крови, и я, довольный, поверну обратно, туда, откуда пришел. Может, по пути натолкнусь и на гюрзу — теперь в этом нет уже и тени сомнения, — но не трону ее. Убить гюрзу в эту

пору легче легкого, но это ничем, совершенно ничем не будет оправдано...

Постепенно растет во мне, подавляя усталость, уничтожая печаль и отчаяние, радость.

Нет! Не исчезла жизнь в моей пустыне! Она только затаилась, притихла, слилась с окрестностью и пульсирует, пульсирует в своем обычном, медленном, но вечном ритме.

Перевела Эмма ПИВОВАРОВА

ЛЕТУЧИЕ МЫШИ В САМТАВИССКОМ СОБОРЕ

ЕСЛИ из Тбилиси ехать на запад, то после села Игоэти основная дорога повернет налево, а прямо пойдет узенькое, какое-то домашнее шоссе... Сейчас оно асфальтировано, а в ту пору было ухабистым и пыльным. Шоссе ведет от села Самтависи к железнодорожному вокзалу Каспи.

Самтависи — это собор... Прежде всего собор. Он построен в 1030 году и стоит так, что высокий его купол видно уже с Игоэти.

Когда-то в Самтависском соборе было полно летучих мышей, я до сих пор помню их и всякий раз, проезжая мимо тех мест, еще не видя собора, а лишь зная, что он вот-вот появится, ощущаю в сердце странную боль. В ней переплелись всем нам знакомая печаль по давнему своему детству, острое, почти мучительное желание вернуть его, и то чувство растерянного, беззащитного недоумения, которое охватывает детей, когда они впервые сталкиваются с жизнью взрослых с их тайнами и непонятными поступками... Самтависский собор до сих пор в моей памяти, и вот почему.

Это было вскоре после войны. Отец не вернулся с фронта, как и многие другие, и мы жили с мамой вдвоем. Помню, в то лето я перешел в шестой класс, и значит было мне тринадцать.

Всю весну лили дожди, но потом они прошли, кончились, и город затопила жара. Бедная мама не спа-

ла душными ночами, думая, куда бы пристроить меня на каникулы — в то время путевку в пионерский лагерь или санаторий было не так-то легко достать.

Выручил нас дядя Георгий, брат моего отца. Он тоже побывал на войне, но, слава богу, вернулся, хоть и тяжело раненный. Чуть-чуть подлечился и сразу же занялся своим любимым делом — археологией. В то лето ему как раз предстояла экспедиция от Музея Грузии в Самтависи, и дядя сказал, что мог бы взять меня с собой. Я согласился сразу и с радостью, мама же колебалась долго, не решаясь отпустить меня на все лето и так далеко от себя. Но никакого другого выхода у нее не было и она в конце концов согласилась.

Народу в экспедиции было много: семь или восемь археологов, два архитектора, три художника, фотограф, повар, шофер и еще несколько таких же, как и я, лиц, трудовые обязанности которых были весьма расплывчаты и сводились в основном к тому, чтобы сохранить собственное здоровье к моменту возвращения в Тбилиси.

Двор собора, окруженный серой каменной стеной, был широк, просторен и весь зарос низкой курчавой травой. По углам возвышались башни с бойницами — в их провалах в ту пору мне так легко виделась высокие фигуры воинов, блеск их кольчуг и щитов... Наружные стены собора были украшены богатой резьбой, а сам он поражал своей высотой, гулкостью, темнотой в дальних углах и той торжественной тишиной, которую мы всегда ощущаем, когда вокруг нас древние камни.

Внутренние стены собора некогда были расписаны, но фрески густо покрыл белый налет поздней побелки, и только кое-где островками светились краски. Зато высоко, под самым куполом, был хорошо виден почти неповрежденный лик Христа. Он смотрел на нас сверху большими влажными глазами, и я, вопреки своим твердым атеистическим убеждениям, был очарован им... В ту пору я уже знал все о Джоконде, был пленен таинственной силой ее взгляда и, попав в Самтависский собор, твердо и гордо решил, что его Христос ничем не уступает прославленному шедевр.

В первый же вечер я поставил свою раскладушку посередине собора, прямо под фреской Христа... Думаю, что у остальных членов экспедиции, занявших

для ночлега места более укромные — комнату дьякона, ризницу — этот мой выбор вызвал некоторое удивление, но мне никто ничего не сказал. Правда, Мераб сын начальника экспедиции, дяди Ростомы, и мой сверстник, пожелал устроиться рядом со мной, но ему почему-то отказали. Тут я понял, что в моем положении человека без семейной опеки — а с дядей Георгием я всегда чувствовал себя свободным — есть немалые преимущества...

Как бы ни было, а наступающая ночь застала меня там, где я и хотел, — посередине собора, лицом к лицу с его главной подкупольной фреской.

Первые сумерки начали туманить и сглаживать дальние углы собора, в распахнутую его дверь лился тонкий и печальный запах травы, примятой нами за день, и мне, почти уже засыпавшему, легко и светло подумалось, что жизнь моя на новом месте будет хорошей...

Мой первый сон был неожиданно смят и отброшен каким-то пронзительным писком... Я открыл глаза...

Целые полчища летучих мышей реяли под куполом собора, черными, стремительными штрихами прочерчивая лик Христа. Как маленькие злые духи, метались мыши, уворачиваясь друг от друга, от каменных стен, в которых им было тесно, иногда все же сталкиваясь и падая, часто — совсем рядом со мной. Беспомощно распластавшись на каменном полу, они продолжали возиться и пищать, гулкая тишина собора удесятряла звук, и казалось, какое-то отчаяние, тоска и бессильная злоба были в их голосах. Я не мог выдержать долго — встал и переменял место, но сразу не смог заснуть — мне стало тревожно... Я долго боролся с этим чувством и в конце концов заснул.

Наступивший день заставил меня забыть то, что было ночью... Началась работа. Археологи занялись раскопками, находя при этом, как говорил дядя Георгий, много примечательного материала; архитекторы обмеривали собор, для чего соорудили из досок огромную вышку. Она стояла на больших и скрипучих деревянных колесах, время от времени ее перекатывали вдоль стен собора, и она напоминала мне осадные со-

ружения, с помощью которых в давние времена захватывали крепости.

Художники и фотограф делали множество совок и снимков фресок и орнамента собора...

Из трубы маленькой кухни-временки, которую соорудили тоже из досок и поставили у стены высокой колокольни, постоянно курился дымок — там хозяйничала повариха Нино, а из-под единственной автомашины экспедиции целыми днями торчали здоровенные сапоги нашего шофера. Иногда оттуда доносилось звяканье металла, кряхтенье и недовольное ворчанье, но чаще просто слышался мирный, спокойный храп...

Словом, все были заняты своим делом, а я, Мераб и еще двое мальчишек были предоставлены самим себе.

Вместе со всеми мы рано вставали, вместе завтракали, а потом до обеда никто и не вспоминал о нас... Мы вертелись около собора и лазали куда хотели. Однажды влезли даже на деревянную и довольно-таки шаткую вышку наших архитекторов — вот тогда нам здорово влетело!

После обеда, когда члены экспедиции, спасаясь от жары, старались работать внутри собора, в прохладе, мы тоже в поисках прохлады шли купаться на Лехуру. Нам никто не препятствовал — вежно мутная Лехура была настолько мелководна, что утонуть в ней, пожалуй, было просто невозможно... Потому мы часами то плескались в ней до посинения, до дрожи, то жарились на плоских больших камнях.

Несколько раз мы пытались «захватить» старую, полуразрушенную крепость, что виднелась на высоком холме, но она почему-то всегда оказывалась дальше, чем виделась с берега Лехуры, и мы, потные, пыльные, измученные жарой и усталостью, возвращались из похода ни с чем, притом еще и опаздывали на ужин...

Я до сих пор помню это карабканье по камням, дрожание раскаленного воздуха над ними, стремительное исчезновение ящерок, высокое и выцветшее от зноя небо над головой... Помню содранные до крови локти и колени, солоноватый вкус зализываемых садин, соевые Мераба, блестящую от пота коричневую его спину. Как счастливы мы были тогда!..

У дяди Георгия было ружье, и однажды он даже



взял нас с собой на перепелиную охоту, но проку этого не вышло. Мы с Мерабом только мешали: смешила крадущаяся походка дяди Георгия, его зывы к тишине и страшные глаза, которые при этом он нам делал... Мы переглядывались, то и дело фыркали, и дядя, плюнув с досадой, повернул в конце концов обратно к базе. Не знаю почему, но только он и сам потом на охоту почти не ходил, и висевшая в его изголовье, рядом с полным патронташем, двуствольная «тулка» выглядела грустно.

Прекрасны и тихи были вечера в Самтависи... Отужинав, взрослые сидели у стен собора — они и после захода солнца долго сохраняли тепло. В наступающих голубых сумерках то затухающими, то оживающими угольками тлели их сигареты, голоса звучали приглушенно и мягко. В соборе воцарялась тьма (в нем и днем-то был полумрак), и мы, чтобы не мешать беседе и отдыху взрослых, удалялись за ограду. Туда приходили деревенские мальчишки, и мы устраивали «самтависские игры»: боролись, метали камни и палки, именуемые для пущей важности дротиками.

Иногда в разгар игры я вдруг оглядывался на темный силуэт собора, спокойно и мудро взиравшего на нашу возню, и странное чувство приходило тогда ко мне... Казалось, кто-то смотрит на меня, смотрит ласково и немного печально, хорошо зная, что вся эта борьба, шум и прыжки, все эти «самтависские игры» — ненадолго, что они в скором будущем исчезнут, уйдут, как уходят синие сумерки, уступая место ночи... Но и само это удивительное ощущение длилось недолго, какие-то мгновения, и потом я отчего-то всегда шумел, бесился и прыгал пуще прежнего, лез бороться с самими сильными и чувствовал себя непобедимым.

Так шло это лето, полное неба, солнечной ряби на перекатах Лехуры, жара ее белых камней, рыбалки, ловли перепелок, всего того, чем может одарить оно мальчишку... И за всем этим — надо всем этим — стояла строгая и стройная громада Самтависского собора...

Кончался август, лето было на излете, дядя Ростом уже сказал несколько раз, что экспедиция закан-

чивает работы, и тут Мераб совершил свое открытие... Оно словно отсекло от нас все прежние дни, сделало нас и то лето другими.

В дальнем и вечно темном углу собора Мераб однажды обнаружил дверь, прорезанную во внутренней стене, а за дверью начиналась узкая, с высокими ступенями лестница, поднимавшаяся к небольшой келье с низким потолком и единственным маленьким окошком. В одной из стен и здесь была прорезана дверь, а за ней тоже начиналась лестница, более крутая, чем нижняя, и такая же темная...

— Наверное, ведет к куполу, — почему-то шепотом сказал я.

Мераб кивнул, облизал губы и только было собрался что-то мне сказать, как странные, непонятные звуки где-то над нами чуть было не заставили нас кубарем скатиться по лестнице. Но мы устояли, а придя в себя, увидели, что под сводчатым потолком кельи черными гирляндами висит множество летучих мышей... Зрелище было не из приятных, но страх наш исчез окончательно, и, присмотревшись, мы поняли, что здесь есть и голуби. Они сидели на резном наличнике окна, ворковали, раздували шею, косили на нас бусинками глаз, склоняя и поворачивая головки, а потом вдруг разом, с шумным хлопаньем крыльев, взметая и раздувая пыль, вылетели в окно...

— Поймать бы такого! — воскликнул Мераб, и глаза его загорелись.

— Это, наверное, дикое, — предположил я. — Давай подстережем!..

Мераб с готовностью согласился, и мы, совсем уже освоившись, начали внимательно рассматривать келью.

Под окном у стены находилось широкое каменное ложе. Мы присели на него и стали ждать. Было тихо, только время от времени сверху доносились шуршание и писк летучих мышей.

Надо сказать, что Мераб был очень наблюдательным парнем. От взгляда его больших темно-серых глаз ничего не ускользало, все новое и мало-мальски интересное он замечал тут же, и данное ему мной прозвище «Шерлок Холмс» носил с гордым и спокойным достоинством. Вот и сейчас он доказал, что носит его по праву.

— Пол какой грязный и пыльный, правда?! — сказал он.

— Это все летучие мыши, — ответил я, — галзе же...

Но Мераб будто и не слышал.

— И стены какие грязные, не правда ли? — продолжал он.

— Ну и что?

— А то, что место, на котором мы сидим, совсем чистое... Проведи ладонью.

Я послушался и убедился, что Мераб прав: камень был совсем чистым.

— Странно! — удивился я. — Интересно, почему? Мераб пожал плечами...

Долго мы ломали головы, но так и не смогли объяснить эту странность. Потом опять вспомнили про голубей... Их что-то не было видно. Время тянулось очень медленно, писк летучих мышей был противен, надоедлив, и наконец наше терпение иссякло. Мы решили отложить охоту. На цыпочках спустились с лестницы и незаметно выскользнули из собора, чтобы никто не узнал о нашем открытии.

На другой день, после завтрака, когда все принялись за свои дела, мы громко объявили, что идем на Лехуру (хоть нас никто, как всегда, ни о чем и не спрашивал), и покинули двор собора... До реки мы, конечно же, не дошли.

— Главное, чтобы остаться незамеченными! — сказал Мераб. — По лестнице будем подниматься тихо-тихо, а то вспугнем голубей!

— Слушай, давай я возьму с собой какую-нибудь доску и прикрою ею окно! — предложил я. — Голуби не смогут вылететь и мы запросто их возьмем!

Мераб насмешливо прищурился:

— Лоб себе хочешь разбить? Там и так не больно светло!

— Возьми фонарь у отца!

— О! Это дело! — согласился Мераб. — Нам же и по верхней лестнице придется подниматься!..

Тихо, как воры, перелезли мы через ограду и незаметно, вдоль стены, скользнули в собор. Приятно по-

веяло прохладой. Мераб бегом притащил фонарь, я вооружился доской, и мы, словно призраки, сплываем в темноте лестницы.

Осторожно поднялись, про себя считая ступени... Восемнадцать, девятнадцать, двадцать... Лестница кончилась. Замираем на месте, переводим дух, привыкаем к темноте. Знакомый вчерашний шум опять доносится до нас сверху: снова пищат и шуршат летучие мыши. Глаза еще не совсем привыкли к темноте. И вдруг обострившийся, настороженный слух отчетливо различает какие-то новые, незнакомые звуки... Здесь кто-то есть!

Мераб застыл рядом со мной, он, кажется, вообще не дышит... Вдруг я явственно слышу шепот:

— Дорогая моя... Девочка моя...

Потом за этим слышен звук поцелуя, шорох, и мы догадываемся, что тут происходит, — не такие уж мы маленькие!.. Знаем мы и то, как должен вести себя в таких случаях каждый порядочный, воспитанный человек, но глаза только сейчас начинают привыкать к темноте, и такое острое, непреодолимое любопытство вдруг охватывает нас!.. Мы хотим — но не можем двинуться с места.

Из темноты снова доносятся шепот и звук поцелуя...

Мне вдруг становится жарко, очень жарко, и сердце бьется так, что боюсь, как бы это меня не выдало. Кровь приливает к вискам, глухо стучит, бьется в них. Не могу перевести дух. Похоже, что и Мераб в таком же состоянии. Не такие уж мы маленькие!..

— Ты же знаешь, как я несчастна... — шепчет женщина. — Ни в чем не возло мне в жизни... Никого с тех пор не любила... Только ты, один ты — моя надежда!..

— Знаю, родная, знаю... — отвечает низкий мужской голос. — И ты ведь знаешь, как я тебя люблю!.. Чего только не сделаю ради тебя!

В женском голосе слышны слезы:

— Значит, в сентябре, да?.. Как вернемся?..

— Да, да, конечно! Ведь обещал же я?!

— Надежда моя!..

Я уже отчетливо разбираю, вижу тени, вернее — одну тень. У нее две головы, четыре руки и два голоса, из которых я пока ни один не узнаю. Чувствую возле уха горячий шепот Мераба:

— Обоих узнал... — и спустя некоторое время:
Вернемся!.. Нехорошо это!..

Затаив дыхание, мы крадучись спускаемся незаметно покидаем собор, вновь перелезаем через ограду и почему-то сломя голову бежим к Лехуре. Мераб впереди, легко, как заяц, перемахивает через колючие кусты, я, стараясь не отстать, мчусь следом... Колючки больно царапают голые ноги, раза два я падаю, споткнувшись, но потом все же нагоняю Мераба и на бегу, задыхаясь, спрашиваю:

— Кто же был?.. Скажи!..

— Скажу... погоди!.. — отвечает он, не останавливаясь.

На берегу Лехуры мы почти падаем, еле переводим дух. Смотрим друг на друга. Мераб лукаво улыбается, но я вижу, отчетливо вижу, что он смущен. «Неужели это и есть любовь?!» — думаю я... Молчим, я верчу в руках, ломаю какую-то сухую веточку.

Вдруг, неожиданно для самого себя, чувствую, как мне хочется что-нибудь сломать, разбить, зашвырнуть куда-нибудь, словом, сделать что-то резкое и злое... Ору на Мераба:

— Не скажешь, ослиная твоя голова?!

Мераб удивленно вскидывается:

— Скажу, не ори!..

Потом, чуть помолчав:

— Никого не узнал?

— Нет.

— Мужчинна был Шота.

— Шота?..

— Ну да, он! А женщина... догадайся!

— Да не знаю я, говори же, что ты тянешь!? Кто?..

— Нино.

— Нино?.. Какая Нино? Повариха, что ли?

Мераб молча кивает.

— Да брось! Тебе показалось!

— Показалось?.. Давай поспорим! Почему не веришь?..

Я и сам не знаю, почему не верю, не хочу верить, и лишь пожимаю плечами.

Видно, еще рано было мне понимать тогда, отчего

я не мог смотреть в блестящие черные глаза нашей Нино!.. Протягивая мне алюминиевую миску, она всегда ласково улыбалась мне, а я... Я был рад, что в простейшей пар, поднимавшийся из большой кастрюли, мешал Нино видеть мое пылающее лицо.

Нино была вдова из ближнего селения Ламискана. Женщина лет тридцати, тихая, вежливая, очень чистоплотная. О себе она никогда ничего не рассказывала, но разве скроется что-нибудь там, где соберутся несколько женщин?.. Потому даже мы, дети, знали, что раньше она работала где-то счетоводом, потом вышла замуж, а мужа почти сразу же призвали в армию. Он было уже отслужил, как началась война, и скоро, очень скоро Нино получила с фронта извещение о гибели мужа.

Так она овдовела, детей у нее не было, и Нино, похоже, не оставалось ничего, кроме как горевать... Но сердце человеческое — глубокий колодец, мы часто черпаем из него всю жизнь, так и не достигнув дна... Мне ныне думается, что к тому, запавшему в мою память лету время сделало свое дело — залечило раны Нино, и душа бедной молодой женщины снова захотела жить, запросила счастья... Вот и стали мы с Мерабом невольными свидетелями сокровенного ее счастья, узнали ее избранника, которым по совершенно непонятным для меня причинам оказался Шота.

Шота был шофер нашей экспедиции, неженатый, веселый и грубый человек. У него была густая, спадающая на глаза черная шевелюра, большой горбатый нос и разрисованные многочисленными иллюстрациями из «Витязя в тигровой шкуре» волосатые плечи и руки с крепкими, могучими бицепсами... С нами он старался быть в свойских отношениях: то и дело подмигивал, называл не иначе как «корешками» и заговорщицки улыбался. Он охотно принимал нашу помощь, когда брался за ремонт машины, много раз обещал научить водить, но так и не сделал этого — лишь ухмылялся да отшучивался, когда мы пытались напомнить ему об обещанном... Наверное потому-то я его не особенно любил. К тому же от природы был я брезглив, а Шота вечно ходил замызганный, перепачканный мазутом и очень любил без конца ковыряться в своих крупных, пожелтевших от табака зубах...

«И такого человека любит Нино?!..» — думал я с

досадой, лежа рядом с Мерабом на берегу Лехуры. Говорить ни о чем не хотелось, Мераб тоже молчал. Что-то мутное и злое росло в душе, время будто останавливалось, и мы долго сидели на солнцепеке, не двигаясь. Вернулись назад лишь тогда, когда удлинившаяся вечерняя тень собора достигла берегов Лехуры.

Как ни стыдно теперь вспоминать об этом, но на другой день мы не долго колебались... Снова — обманная уже самих себя — вооружились доской и фонарем — будто и вправду за голубями шли... Кто теперь о них помнит!?

Тихо, крадучись, поднялись по лестнице и долго стояли во тьме, обратившись в слух, жадный и мучительный... Шота не скупился на красивые слова. Низкому, густому голосу его было, казалось, тесно в стенах маленькой кельи, и он гудел шмелиным гудом, крепчал, разбухал от страсти. Каких только слов не было сказано, каких признаний, но Нино все равно без устали заставляла Шота повторять одно и то же и, наверное, от счастья, плакала... Она плакала, а голос его все гудел, все обвивался вокруг ее плача, ее дыхания, вокруг всей Нино... Злость подступала к моему горлу, набухала комом, я весь дрожал от ярости и еле сдерживался, чтобы не сделать какой-нибудь глупости.

Не знаю, сколько мы стояли там, во тьме, не двигаясь, не шелохнувшись. Наверное, очень долго, потому что суставы у нас начало ломить и широко раскрытым, вперившимся в темноту глазам стало больно.

Когда мы выбрались во двор собора, Мераб был бледен, а у меня тряслись руки... Мы избегали смотреть друг другу в глаза и, не сговариваясь, решили навсегда забыть о проклятой лестнице... Так и вышло, и сдержать обещание нам было совсем не трудно — мы теперь почти боялись этой лестницы, боялись и стыдились. Впрочем, так, за будничными делами, мы украдкой поглядывали на влюбленных и, помнится, удивлялись, что в их отношениях не было заметно никаких особых перемен...

Однажды вечером, когда до конца экспедиции оставалось дня три, дядя Ростом отправил в Тбилиси нагруженную общим багажом машину. Вернуться она

должна была на следующий день. Как и всегда перед поездкой, Шота в тот день с утра возился с машиной, смазывал, чистил, что-то подтягивал и проверял. Мы с Мерабом, хоть и неохотно, но помогали ему, такие же перепачканные в мазуте, как сам Шота. А он больше обычного шутил и веселился.

К вечеру, приготовив все, он поужинал, покурил, задумчиво ковыряя щепочкой в зубах, и направился к машине.

Прежде чем сесть за руль, он весело крикнул нам с Мерабом:

— Ну, корешки, счастливо оставаться!..

Мы почему-то опустили глаза... Шота помахал остальным и рывком сорвал машину с места.

Тот вечер и большую часть следующего дня взрослые потратили на упаковку оставшегося багажа. Дел было много, мы с Мерабом, пытаюсь помочь, путались у всех под ногами, нас гнали... Завтракать сели поздно и еще не кончили есть, как поднявшийся и пошедший за добавкой Мераб всполошил всех оглушительным криком:

— Шота едет, Шотааа!.. Машина показалась!..

Все выскочили за ограду и стали всматриваться в шоссе, ведущее из Игоэти. Машина была еще довольно далеко, но быстро приближалась, окруженная огромным облаком густой белой пыли...

Я украдкой взглянул на Нино. Она стояла позади всех, почти у самой ограды собора. На губах ее блуждала улыбка, а глаза... Глаза были такие счастливые!..

Машина скрылась в овраге, снова показалась, объехала собор и остановилась перед нами.

Из кабины вышел незнакомый великан с красным лицом, здоровыми лапищами потер свое огромное пузо и неожиданно тонким для такого верзилы голосом поздоровался.

Все молчали...

— Меня зовут Кола, — сконфуженно представился великан. — Новый музейный шофер я!

— А что с Шота?.. — еле выдохнула Нино, и тут все словно проснулись, засыпали Кола вопросами.

— Куда Шота делся?

— Что с ним?

— Ничего плохого не случилось?



Я снова бросил взгляд на Нино и теперь уж, сколько живу, все не могу забыть это лицо... Ее и без того большие глаза странно, страшно расширились, обильно смуглое, румяное лицо побелело как снег, и маленький нежный подбородок начал вдруг мелко-мелко дрожать — Нино еле сдерживала готовые хлынуть слезы... Кроме меня этого не видел никто — все были заняты новым шофером.

Он стоял, неловко переминаясь с ноги на ногу, растерянно улыбался и бормотал:

— Да что Шота?!.. В селе Мачхаани у него, оказывается, невеста! Ну и вот... Работать туда, говорит, перехожу... Как раз сегодня вроде должен все уладить... И свадьба скоро... Так что в порядке он, не волнуйтесь, вот!..

Это известие вызвало новый взрыв общего оживления, и я не заметил, как и когда исчезла куда-то Нино.

Кола повели во двор, усадили завтракать, наперебой расспрашивая, что да как, ахая и удивляясь. Только и было слышно:

— Ай да Шота!..

— Ты смотри-ка, ну и хитрец!..

— Взял и улизнул перед самой свадьбой!..

Словом, шума, гама, какого-то бестолкового оживления было предостаточно... Только я и Мераб не принимали в нем никакого участия. Да еще Кола не издавал ни звука, усердно расправляясь с завтраком.


Молчала и Нино, которая, к моему удивлению, вернулась к себе на кухню и, побледневшая, с блестящими от еще не высохших слез глазами, сновала возле своих кастрюль и сковородок.

— Шота, оказывается, подлец! — сказал мне Мераб, отведя в сторону.

Злоба перехватила мне горло, и я еле выдавил сквозь стиснутые до боли зубы:

-- Убил бы, окажись он здесь!..

Очень невкусным был обед в тот день. Кола даже не доел своей порции и брезгливо морщился, не скрывая своего недовольства.. Все остальные же были удивлены — Нино ведь прекрасно готовила.



Вечером поднялся ветер, по-осеннему похолодало, на дворе стало неуютно, и все раньше обычного легли спать. Мне не спалось... Несколько раз неприятная дрожь пробегала по моему телу, даже зубы застучали, будто меня лихорадило.

Едва стемнело, высокие своды собора гулко наполнились знакомыми проклятыми звуками: это вновь не замедлили налететь летучие мыши... Опять метался перед моими глазами, заслоняя и уродуя лик Христа, их отвратительный танец-хоровод, сыпались сверху нечистоты, с тонким писком сталкивались и падали вниз тела...

Около полуночи звук приглушенных рыданий донесся до меня со стороны комнаты дьякона, где спали женщины... Присев на постели, я прислушался, но больше ничего не услышал — только ветер стонал и свистел в узких окнах собора. Вскоре и он утих, и ночная глубокая тишина воцарилась кругом. Лишь летучие мыши, как призраки, продолжали реять высоко под куполом, шуршали крыльями и пищали, пищали без конца...

Какая-то недобрая, злорадная радость слышалась мне теперь в этих безобидных на самом деле звуках. Шота со своими желтыми зубами, злые и страшные на вид летучие мыши, дрожащий подбородок и блестящие от слез глаза бедной, обманутой Нино — все это слилось вдруг для меня в одно, слилось и закружилось перед глазами в назойливом, черном хороводе... Рывком вскочил я с постели, быстро и бесшумно, как лунатик, нашел раскладушку дяди Георгия, нашарил на стене «тулку», вытащил патрон из рядом висевшего патронташа, зарядил ружье и, не открывая глаз, со сладостным чувством мести дрожащим пальцем спустил взведенный курок...

Оглушительно и грозно загудели высокие и темные своды Самтависского собора.

Перевел Игорь ШТОКМАН

сенной зубчатой каменной стеной с проемами бойниц, и чарующим храмом — в прошлом грозной и неприступной резиденцией местных князей — по праву почитается жемчужиной Арагвского ущелья.

Ремонтные работы и частичное изменение трассы Военно-Грузинской дороги, вызванные строительством Жинвальской ГЭС, до того изменили облик села, что, не будь этого величавого памятника старины, я, быть может, вообще не признал бы его. В недалеком будущем, когда перекроется буйная горная река, окрестности этого прелестного села, что и говорить, изменятся в еще большей мере, и тогда, как знать, мои приятные воспоминания об Ананури навсегда будут погребены под толщей воды, так же как и дома, огороды, сады, леса и рощи, попавшие в черту бассейна. Пока не поздно, попытаюсь спасти хотя бы одно из них.

Это было лет двадцать тому назад. Геологическая служба Грузии направила с заданием в Душетский район группу в пять человек, в которую входил и я.

Тем летом Тбилиси задыхался в знойном мареве, а в ущелье Арагви по обыкновению царила живительная прохлада. Разница эта сразу и резко ощущалась тотчас за Жинвали, вызывая на первом же повороте облегченный вздох, но приятны мои воспоминания отнюдь не из-за этого обстоятельства синоптического свойства.

Поскольку ближе всего к нашему рабочему объекту располагалось село Ананури, мы поселились в здании местной школы. Ананурцы, как и следовало ожидать, приняли нас радушно — в грузинских селах отношение к геологам отмечено особым и чрезвычайным уважением и почтительностью.

В первый же вечер нас навестил сам председатель сельсовета Нико Балаури, заверив в своем содействии в предстоящей нам работе. Поскольку нашему квартированию в этой школе мы были обязаны ему же, то в ответ мы выразили надежду хоть впрямь не причинять

ему никаких хлопот. Против ожидания, наша конфузливая скромность глубоко оскорбила и председателя, и сопровождающих его лиц — секретаря сельсовета Марту (фамилии не припомню), заведующую почтой Дарико Чопикашвили и школьного учителя Федю Фадеева, распространяться о которых тут не стану, поскольку мы более или менее близко познакомимся с каждым из них по мере развития событий.

— Как это не побеспокоите?! — хором возмутились они. — Кому, как не вам, гостям, нас беспокоить?! Так уж у нас заведено, а вы извольте считаться с нашими обычаями!..

Тут же, на школьной веранде, был наскоро подан небольшой ужин, после чего мы стали полноправными жителями Ананури.

Жизнь на селе текла спокойно и размеренно, что от века привычно Мтиулетскому краю. От весны до зимы движение по Военно-Грузинской дороге оживлялось, и это обстоятельство по-своему сказывалось на быте села, чуть ускоряя биение его пульса, но при этом не вышибая из наезженной колеи.

Как всегда, в срок забивали скотину, в срок собирали фрукты, созревающие, по обыкновению, поздно, в срок ловили форель в Арагви — кто дедовским способом, на ветку, кто ночной порой острогой и копилкой, — в срок глухо раздавались в лесу одиночные выстрелы охотничьего ружья.

В наше там пребывание веками отработанный жизненный ритм, естественно, не изменился, и мы, без всяких на то усилий, приноровились к нему.

Все мы на поверку оказались людьми от природы сдержанными, не было среди нас ни вспыльчивых, ни суетливых, ни болтунов. На работу мы шли рано утром, а возвращались поздним вечером. Раз в неделю, как водится, отдыхали, причем досуг проводили каждый по-своему, но все одинаково тихо и спокойно. Кто, лежа на раскладушке, с увлечением листал день напролет книги, кто без усталости купался в Арагви, возвращаясь лишь под вечер, охая и стоная, с обожженной солнцем спиной... Я предпочитал бродить в одиночестве по лесу. За мое пребывание в Ананури я не раз обошел его дивные окрестности, и даже сегодня при воспоминании о тех беззаботных и счастливых днях меня



пронимает сладостная дрожь. Лесные глубинки притягивали меня безлюдьем, исполненным таинственного шелеста, в замшелых развалинах сторожевых башен, расположенных в ряд по ущелью, меня хмелил аромат прошлого. Я входил в обнесенную оградой Ананурскую крепость, и царящий в ней вековой покой вконец завораживал, истомляя меня. Удобно устроившись на небольшом стоге сена, я часами лежал неподвижно, предаваясь размышлениям. Чуть пониже крепости в Арагви впадает правый приток — Аркала: прежде Военно-Грузинская дорога вела к Душети по этому ущелью. Несколько участков старой дороги местами различимы и ныне, остальные же, унесенные оползнями, исчезли без следа. Это была дорога, вдохновившая молодого Илью Чавчавадзе написание своих замечательных «Записок путника», когда он возвращался из Петербурга домой. Хотя вся Военно-Грузинская дорога в целом и есть «та самая» дорога, но такие ее участки, сохранившиеся в первоначальном виде, с низким парапетом из тесаного камня и старым-престарым гравийным покрытием, редки и особенно дорого сердцу. Любил я сживать часами и здесь, и эта моя, на первый взгляд, странность была понятно отмечена селом: Гуджиа, старший сын вдовы Дарико Чопикашвили, что заведовала почтой, как-то раз доверительно сообщил мне:

— Вон за той горой, в лесу, развалины церкви святого Квирике. Есть на что поглядеть! Через пару деньков мне как раз скот туда перегонять, так я тебе покажу.

— Через пару деньков не смогу! — огорчился я. — А без тебя я не мог бы найти?

— Отчего же?! — подбодрил меня Гуджиа. — Вот как поднимешься в лес, мимо Фединового огорода, а там тропка, так ты ступай по ней, она тебя до места и доведет.

Так я услышал впервые о чрезвычайно распространенном на селе топониме — о Федином огороде, который вскоре прямо-таки застрял у меня в ушах: слева от Фединового огорода, справа от Фединового огорода, за Фединым огородом, до Фединового огорода... Что это за

огород такой, то и дело слышишь о нем?! Тоже мне, пуп земли!

Я поделился с Нико Балаури своим чуть-чуть раздраженным удивлением. Улыбнувшись в свои черные угольные усы, он полуутвердительно спросил:

— Ты же знаешь Федю?

— Какого еще Федю? — не понял я.

— Как это «какого»? Федя у нас один! Да что с тобой? — удивился Балаури. — Не знаешь Федю? Фадеева? Учителя русского языка?!

Только тут я припомнил, что познакомился-то с Федей тотчас по приезде, за ужином на школьной веранде. Он пришел тогда посланцем села и радушно приветствовал всех нас. Как же я мог забыть хотя бы то, как Федя громко и с забавным акцентом читал нам известные строки из своего любимого «Заздравного тоста» Григола Орбелиани: «Где, в каком углу вселенной встретишь Грузию другую?»* и т. д. В тот же вечер Балаури в подробностях рассказал мне о Феде. Видно, я лишнее выпил тогда, поскольку ровным счетом ничего не помнил. Балаури охотно повторил свой давешний рассказ.

Короче, вот эта история.

На исходе тяжелого 1941 года в Ананури появился голубоглазый светловолосый мальчонка лет пяти-шести в грязных лохмотьях. Никто в точности не знал, что с ним было прежде, но хорошего, как несложно догадаться, представлялось мало. На ту пору враг разорил и стер с лица земли множество городов и сел России, Украины и Белоруссии. Вероятно, одним из них было и Федино село, название которого ребенок, прошедший ад, конечно же, не помнил. Он забыл и многое другое. Смутно припоминалось ему лишь то, что рос он в большой семье, но имен своих родных и близких назвать не мог. Не мог припомнить он и того, кто и где посадил его в кузов дребезжащей военной машины, что серым ненастным осенним днем остановилась возле Ананурской крепости. Небритый шофер-армянин средних лет стал на ступеньку машины и на ломаном грузинском языке обратился к толпившимся возле духана женщинам:

* Перевод Н. Заболоцкого.

— Я еду в Баку, а в кузове у меня сидит беспризорный русский мальчонка... Может, кто приютит, а?

Шофер этот, можете себе представить, проехал едва ль не половину Северного Кавказа, повсюду, вплоть до Ананури, задавая все тот же вопрос, но ответом ему всюду было тяжелое молчание. Правда, случалось, и сам ребенок отчего-то упрявился и, забившись за грязные, набитые стружками тюфяки, смотрел оттуда диким зверенышем. Здесь же, в Ананури, то ли тронутый слезами искренне сокрушавшихся женщин, то ли плененный сказочной красотой средневековой крепости, с которой, высунувшись из кузова, он не сводил зачарованных глаз, малыш покорился воле взрослых и молча слез с машины, которая тут же, без проволочек, тронулась дальше. Так маленький Федя выбрал своей второй родиной это красивейшее село в горах Грузии и навсегда остался в нем. Сельчане воздали по достоинству выбору мальчугана: никто не усыновлял его по букве закона, но радело и пеклось о нем все село. Нужда теснила всех, но люди, словно соперничая друг с другом, старались окружить мальчика любовью, чтобы не чувствовал он своего сиротства, и в этом каждый превосходил другого.

Прошло время. Отгремела война, оставив в сердцах ананурцев не одну и не две незаживающие раны. Федя подрос, на зависть выучился грузинскому, не забыв и своего родного языка, но от забавного акцента, как ни старался, избавиться не смог. Несмотря на это, он с отличием окончил среднюю школу, после чего село снарядило его на учение в Тбилиси. По окончании института Федя вернулся в Ананури и стал учительствовать, приумножая число знающих русский язык. Затем он женился. Георгий Бедошвили, что приходился двоюродным братом Балаури, без колебаний отдал за него свою дочь. В скором времени у Феди с Анной родились мальчик и девочка, и жили они в любви и согласии...

— Вот и все! — закончил свой рассказ Нико Балаури.

Легко сказать! А разве этого мало?! Не думаю. Как бы то ни было, история эта глубоко взволновала меня.

Ко времени нашего с ним знакомства Федя выглядел примерно так: облысевший мужчина лет тридцати-

Давид Джавахишвили. Рассказы.

тридцати пяти, голубоглазый и розовощекий, всегда улыбающийся, одет в европейский костюм, на шее — неизменный галстук, на голове — фетровая шляпа, на ногах — обычные туфли, купленные в сельском магазине, в дождливую же погоду — резиновые сапоги; походка спокойная, но деловитая, руки заложены за спину. Словом, типичный сельский интеллигент.

Все хорошо, но при чем же тут огород, спросите вы, читая эти строки. Спросите и будете правы. Когда Балаури окончил свой рассказ, этот вопрос возник и у меня. Он словно угадал мою мысль:

— Ты же ходил верхним лесом? — спросил он в ответ и лукаво улыбнулся в усы.

— Это вы меня спрашиваете? — обиделся я.

Балаури, извиняясь, коснулся рукой моего плеча: — Ты не обратил внимания на большой огороженный участок?

Вспомнилось, что во время моих бесконечных прогулок по лесам мне не раз попадалось по пути ухабистое поле, обнесенное оградой, которое я принимал за загон для скота.

— Вот это и есть знаменитый Федин огород! — торжественно объявил Балаури, устремив на меня испытующий взгляд.

— Какой же это огород? — удивился я. — Ведь это целина, которой и заступ-то не касался.

— Толкуй! А люди его так называют! — продолжил Балаури. — Этот участок мы выделили Феде лет десять назад, тотчас после свадьбы. Семья его жены жила в достатке, нужды в приусадебном участке не было, но для Феде мы сделали исключение. «Уж я разведу такой огород, что грузинам и не снился!» — похвалялся Федя. Тоже мне, Мичурин!

— А что дальше? — засмеялся я.

— Ты же сам видел этот «огород»?!

— А что же случилось, почему дальше забора дело не пошло? — поинтересовался я.

— Не опережай событий, Давид! — встал Балаури. — Ты ведь никуда пока не уезжаешь? Поживешь здесь до осени и сам во всем разберешься. Вы, геологи, до самого сердца земли доходите, так что понять человеческое сердце не составит особого труда, не так ли?

Так вот, довольно туманно, и кончилась наша тог-
дашняя беседа.



Пришла осень.

Что до урожайности, то Ананури, как, впрочем, и все горные селения, этим не похвастается. Сеять хлеб — места слишком мало. Овощи здесь поздние, фрукты тоже, да и то здесь в основном рождаются яблоки и слива. Едва соберут их, как тут же принимаются гнать водку. То с одного, то с другого конца села тянется к небу сизый дым.

В такие дни владелица большого старинного дедовского котла, секретарша Балаури Марта, милостивая женщина тридцати с лишним лет, ходила с подозрительно раскрасневшимися щеками и блестящими глазами, не расставаясь со своим котлом. С величайшим тщанием и со знанием дела руководила она перегонкой водки. Взвивался к небу дым, забивался скот, разносились звуки трения песка о медный котел — чистили его до блеска — и в ближайшем проулке, заложив руки за спину, выраженный в свой неизменный европейский костюм, при галстукке и фетровой шляпе, непременно появлялся Федя.

— Заходи к нам, Федя! — приглашала Марта; потом уж ей вторил подлинный хозяин дома:

— Ты бы зашел, Федя, а? Обходишь нас стороной, ты, часом, не обижен ли?

— Никак не могу! — так холодно отрезал Федя, что, казалось, во всей Грузии не сыщешь человека, способного уговорить его, и спокойно шел своей дорогой.

— Куда путь держишь, Федя? — как бы невзначай бросал ему вслед кто-нибудь.

Остановившись, Федя неторопливо снимал шляпу и так же неторопливо проводил рукой по лысине.

— Мне бы за огородом присмотреть, совесть тоже хорошее дело!

— Вот еще, придумал! — выскакивала со двора Марта и хватала Федю за рукав. — С чего это, как осень, так тебе приспичит, нашел время в огороде копать!

— Поди сюда, мил человек! Знаешь ведь, без те-

бя и еда не впрок! — вторил Марте хозяйни, и Федя несколько смягчался.

— Люди, что вы со мной делаете?! — сокручался он, уже готовый уступить. — Убьет меня моя Анна и будет права! Можно ль терпеть ежедневное пьянство? Возьмет да не впустит меня в дом!

— Не впустит — так мы же здесь?! — вызывающе смеялась одинокая Марта и больно щипала Федю в бок.

Федя не выносил щекотки, она была его ахиллесовой пятой, и Марта, воспользовавшись его слабостью, лишала Федю способности к сопротивлению.

Чуть погода Федя приступал к чтению своего любимого стихотворения: «Где, в каком углу вселенной встретишь Грузию другую? Этот храбрый и радушный... — при этих словах Федя непременно поднимал палец, многозначительно повышая голос, затем, после столь продолжительной паузы, что создавалось ложное ощущение, будто он забыл стихотворение, заканчивал бормочущей скороговоркой: — ...и воинственный народ!».

Да что говорить о Феде, когда мы сами, стараниями ананурцев, частенько пребывали в том же состоянии. Ни разу на селе не звякнули без нас ни стакан, ни тарелки. Каждый вечер по возвращении с маршрута мы находили на школьном дворе кого-нибудь, кто поджидал нас и сердечно приглашал к себе. Зная, что отказ наш был чреват неизбежными щипками Марты, мы почитали за лучшее идти по доброй воле.

Так проходила осень.

Близилось время расставания с Ананури, отчего у меня наперед щемило сердце. И, как оказалось впоследствии, совсем не зря: почти двадцать лет пролетели так, что мне ни разу не довелось проехать по Военно-Грузинской дороге, а уж потом все безнадежно изменилось.

Раз вечером, вернувшись с маршрута, мы застали на школьном дворе множество людей — здесь собрались без малого все ананурцы. У меня перевернулось сердце — не случилось ли что, но веселый гомон тотчас успокоил меня. Лишь потом я заметил: по всей длине двора, прямо на траве, накрыт был сказочно щедрый и красивый стол.

На месте тамады восседал, разумеется, сам Балау-

ри. Заметив нас, он поднялся и, широко разведя руки, приветствовал словами:

— Вот и наши гости пожаловали! Где вы, милые, где запропали? Вы не спросите о причине нашего застолья? Поверить, что вам не хочется знать?

— Дай-то бог, чтоб не переводились причины для веселья! И все же, что это, крестины или венчается кто? — засыпали мы его вопросами.

— У нашего Федя отыскались в России родители и приехали к нам в гости! Вот как! И сестры, и зятя! Что же лучше пожелать?! — гремел Балаури.

— Как это родители? — разинул я рот. — А говорили, никого нет?!

Тем временем к нам приблизился сам Федя. С радостными слезами на глазах он поочередно обнял всех нас и пять раз кряду со всеми подробностями изложил, подрагивая подбородком, обстоятельства дела:

— Представляете, так, перепиской, мы и нашли друг друга! Ну надо же?! Вот, оказывается, какие чудеса бывают на свете! А я и не верил! Пойдемте, я сам должен познакомить вас с моей родней! Они не то что я, очень милые люди, очень... — и Федя, вконец умилившись, зашелся в сладком плаче.

Мы, конечно, пошли за ним и, конечно, познакомились. Они на самом деле оказались славными: простые, добрые, со слезами радости на глазах... Что до меня, то после двух стаканов и мне не под силу было совладать со своим подбородком — он зримо дрожал.

Всю ночь и всю неделю шло веселье на селе. При нашем, разумеется, участии. Много было пролито радостных слез, много сказано искренних и теплых слов о братстве народов, о бессмысленности и ужасах войны. Были объятия, были поцелуи, веселье и смех. Был и плач, когда помянули погибших на войне и среди них — братьев отца Федя, мужа заведующей почтой Дарико и многих других... Словом, был по-настоящему народный праздник, без ограничений и... без режиссуры.

Но все имеет свой конец.

Настала пора расставания. Сотый раз был накрыт стол, сотый раз разгорелись радость и веселье. Когда же на рассвете все попритихли, слова попросила мать

Феди, Евдокия Кирилловна, добродушная полная женщина в платке.

Все обратились в слух.

— Дорогие грузины! — начала она, естественно, по-русски, и речь ее все отлично понимали благодаря стараниям ее же Феди; переводчик понадобился лишь несколькими старухам. — Сколько бы я ни говорила, все не смогу выразить то чувство благодарности, которое до краев переполняет мое сердце. Должна признаться в одном грехе. Нынче попросила я сына моего Федю, которого спасли и воспитали вы, вернуться в родную деревню Фадеевку. Он ответил отказом. Я прекрасно его понимаю, но не легче от этого сердцу моему. Я мать, и, надеюсь, все меня поймут. Не обижайтесь, но я хочу повторить свою просьбу принародно. — Тут Евдокия Кирилловна умолкла, ком, подступивший к горлу, мешал ей говорить. Справившись с собой, она отрывисто, с видимым усилием закончила: — Федя, сынок... еще раз, в последний раз прошу... вернись... в родное село...

Воцарилась неловкая, напряженная тишина.

Федя встал, явно волнуясь. И мне впервые довелось услышать, как он говорит по-русски.

— Дорогая мама! Мое родное село — это Ананури! Я сказал тебе об этом и вот повторяю! Ничего не поделаешь, иначе я не могу! Здесь у меня семья...

— Возьми ее с собой! — ввернула мать.

Федя усмехнулся и возразил:

— А они не поедут! Ты не знаешь, что это за люди! Бульдозером их от своей земли не оторвешь!

— Так оставь их! — неловко пошутила отчаявшаяся мать и, жалко улыбаясь, подмигнула своей невестке Анне. — Мы тебе новую жену подыщем, за тебя любая пойдет!

Все деланно засмеялись, а Федя, пропустив эту шутку мимо ушей, продолжал, перейдя на грузинский:

— У меня здесь друзья и ученики! У меня здесь дело! Оставив все побоку, у меня здесь еще и огород! Кто и где мне даст такой огород? — И Федя, по обыкновению, закончил свою речь все тем же стихотворением Орбелиани: «Где, в каком краю вселенной встретишь Грузию другую?..»

Этими словами хочется и мне закончить свой рассказ.



Добавлю лишь одно: Федины родители и сродники в то же утро отбыли в Россию, а мы собрались назавтра ехать в город. Федя же навсегда, уж окончательно, остался в своем Анаури. И мне хочется верить, что и ныне, вот в эту минуту, он, заложив руки за спину, спокойно и деловито шагает по крутому подъему, ведущему к его огороду, которому все нипочем, даже потоп, пусть хоть всемирный.

Перевела Эмма ПИВОВАРОВА



ХРОНИКА

ДНИ МАЯКОВСКОГО В ГРУЗИИ

В ГРУЗИИ завершились Всесоюзные дни Маяковского.

В восьмой раз прошел на древней земле Грузии праздник поэзии В. Маяковского, что свидетельствует о непреходящем значении творчества поэта-трибуна, поэта-гражданина для современности.

Участники праздника, приехавшие из разных уголков нашей страны, выступили перед трудящимися Кутаиси и гор. Маяковски. С их участием прошел семинар в народной академии Гелати. В кутаисском молодежном клубе «Фазис» состоялся вечер дружбы.

Вечером политической и гражданской поэзии, который был организован в Кутаисском драматическом театре имени

Л. Месхишвили, завершились Дни Маяковского в Грузии. Вечер вел секретарь правления Союза писателей Грузии, лауреат премии имени Ш. Руставели Дж. Чарквиани. Он представил собравшимся новых лауреатов премии имени В. Маяковского Совета Министров Грузинской ССР, передал им дипломы и значки. А затем зазвучали стихи...

Символом нерасторжимости всех поколений советской литературы стало участие в вечере старейшего грузинского писателя, Героя Социалистического Труда К. Лордкипанидзе и известного грузинского поэта М. Квливидзе.

На заключительном вечере поэзии присутствовали ведущий отделом культуры ЦК КП Грузии Н. Ш. Джанберидзе, секретарь ЦК ЛКСМ республики Д. В. Маргвеладзе.



ПУТНИК

Оглядываясь иногда назад, добрый путник.
Путь, пройденный тобой, был когда-то путем,
который предстояло пройти.

Память хранит отрывочные воспоминания
о безоблачных днях.

Надежда на их возвращение
бездумно толкает меня вперед и вперед,
к финалу.

Вот село... Дорога сворачивает к селу,
окуная тебя в тень старых дубов,
обдающих прохладой
твои опаленные плечи...

Сам воздух здесь кажется древним.
Дыхание его идет из неведомых глубин.
Мшистый и влажный нектар впитывают твои легкие,
прокопченные городской гарью.

Древность, глубина,
искрящийся бархатом мох,
аллея кряжистых дубов —
источник неожиданной грусти.
Она копится в твоей душе,
и ты наполняешься ею,
как благодарный сосуд.

Оглядываясь иногда назад, добрый путник.
Дорога, которую ты должен пройти,
пройдена уже другими.
Не обольщайся, что ты первым вступаешь
в безмолвную обитель.
Что осталось позади, в зное безмолвной пустыни —
глас вопиющего?

Он ведь преследует тебя,
преследует, как твоя собственная тень?
Чувствуешь, — ты босыми ногами
касаешься не земли, а той неизбежности,

с которой в прах превратились
шедшие перед тобой.

Касаешься тех, кто лежит здесь,
в глубине замшелой земли.

Тех, кто наслаивались друг на друга
и углубляли эту древнюю тишину.

Оглядывайся иногда назад, о добрый путник.

Мы остались позади...

Но мы и там, куда ты пойдешь...

Видишь источник всего?

Нет, не видишь.

Так и кончина твоя

никогда не станет Концом.

Ты — путник, очередной путник.

И к тебе, истолченному в дорожную пыль,

следующий путник прикоснется ступнями

и вдохнет воздух,

напоенный твоими думами.

И сердце его сожмется в тоске.

Он удивится так же, как ты,

и не сможет понять причину тоски,

когда услышит щебет птицы,

которая мастерит гнездо

на старых ветвях.

●
Бабушка, лицо твое испещрено морщинами.

Эти бороздки — иероглифы твоих забот и страданий.

Раньше всех их научились разбирать

слезы и росинки пота,

стекавшие с твоего светлого лба.

Печали и заботы, которыми ты ни с кем не делилась,
все время точили твое сердце.

Такое не проходит бесследно.

Ночи тоски наложили свой отпечаток

На твое лицо.

Я научился читать
печальные иероглифы твоих морщин.
На лице твоём как будто дрожит тень сухой ветви
ветви безжалостно обрубленных годов.

На уставших руках твоих
вены перевиты, как синие корни.
Натруженными пальцами
ты перебираешь веселые бусы на глазах у внука.

Ты ласкаешь ребенка,
ты улыбаешься ему,
и от улыбки появляется еще одна морщинка,
самая глубокая и самая отчетливая —
иероглиф любви.

ФРАГМЕНТ

Снова пришел листопад,
и косари
косят лучи заходящего солнца
и ставят в стога.
Снова пришел листопад.
В который раз
неизбывная печаль вечности
струится сухими листьями.
Земля прибывает.
И шуршит под ногами листва —
бессильные крылья минувших дней.

ИСАКАВА ТАКУБОКУ

Как поздно я понял,
что та лестница,
по которой я взбирался столько лет,
не лестница даже —
одна ступень.

В церкви ударили колокола.
И в тишине, где лишь сердца биенье
Слышалось, — трещина вдруг пролегла,
Свету грозя inferнальною тенью.

Этот внезапный обрыв тишины
Оледенил мне дыханье и зренье.
Родичей прах у церковной стены
Вижу и смертное чую томленье.

Сердце на миг без движенья застыло,
Словно последний удар ожидая.
Лист мне лоза на чело опустила,
Кротко, как мать, меня благословляя.

Перевела Ирина МЕЛЬНИКОВА

ИЗ ЦИКЛА «ПЕРВАЯ ОКТАВА»

МЫСЛЬ

Я уже не могу тебе спеть,
Не могу и оплакать,
Ветер голос отнял у меня,
Дождь вобрал в себя слезы...
Мне осталась лишь мысль.
В мыслях я тебя приласкаю,
Но почувствуешь ты наяву мои ласки,
Как слепой ощущает дыханье огня,
Его теплые волны...

ТАЙНА

Я не могу уснуть — мне жизни жаль для сна,
Хочу и день и ночь тобою любоваться
И тайные услышать голоса.
Ты мне поверишь: тысячи веков
Я всматриваюсь, но познать не в силах
Бездонную загадку мирозданья...

Перевела Тамара ПАПАЛАШВИЛИ



РАССКАЗЫ

ФИАЛКИ БАБУШКИ АННЫ

СОЛНЕЧНОЕ утро ранней весны. Тбилисцы высыпали на улицы, лица светятся улыбками. По проспекту Чавчавадзе мчится «Волга». Рядом с шофером сидит Гиви. Его внимание поглощено прохожими. Заметив группу своих однокурсниц, идущих в сторону университета, он просит остановить машину. Шофер резко берет к тротуару и тормозит. Гиви, улыбаясь, выходит из «Волги», в руках у него фиалки.

— Гиви! Гиви! — девушки не скрывают своей радости. — Откуда это чудо? Где ты взял столько фиалок?

— Получил наши телеграммы? Мы не смогли приехать, нас непустили. Ты ведь не обиделся?

Они поочередно целуют Гиви в покрасневшую щеку, и их поцелуи подобны прикосновению бабочек.

— За телеграммы спасибо, — говорит Гиви и дарит каждой девушке по букетику фиалок. — Это вам от бабушки Анны.

Девушки опускают глаза, пытаются скрыть чувство радостного изумления.

— От бабушки Анны! — Гиви улыбается.

Москва. Дубно. Атомный центр.

На газонах стынет снег, собранный в большие кучи. Ранняя весна.

В лаборатории оживление. Женщины в белых халатах, не в силах скрыть радостное волнение, нюхают букетики фиалок.

Сегодня утром Зураб Шалвович прилетел из Грузии.

— Это вам от бабушки Анны, — сказал он, даря женщинам фиалки.

Они не ожидали подобных нежностей от своего сурового и требовательного начальника.

В реакторе шло расщепление урана.
Первые весенние цветы — в атомном центре.
— От бабушки Анны! — улыбались физики.



Бабушка Анна и дедушка Онисиме жили в Свири в ветхом домишке за железнодорожной станцией. У них было восемь детей. Дедушка Онисиме работал железнодорожным мастером, жили они просто, без претензий.

— Нам бы дом поставить!

— Как же, как же! — Онисиме размешивал ложкой чай. В камине гудел огонь.

— Детей пожалей, в такую даль в школу ходят.

— Ничего с ними не станется!

Маленький Уча подбегал к отцу и вис у него на руке.

Тина и Нино, поссорившись, как по команде, пускались в рев.

Мариам в своем углу начинала ворчать — не дают заниматься.

— О боже! — Анна воздевала руки к потолку.

Уча продолжал висеть на отцовской руке, ему хотелось играть.

— Отстань, отстань, — бурчал Онисиме, пытаясь высвободиться, и сердито помешивал ложкой чай.

— Загубит детей лихорадка, давай переедем в Зестафони, — твердила свое Анна.

И так изо дня в день.

Однажды, потеряв терпение, Онисиме схватил стакан чая и вместе с блюдцем и ложкой швырнул в пылающий камин. Раздался оглушительный треск, из каминна вырвались клубы пара и золы.

— Покоя не дают! — в сердцах сказал Онисиме, надел пальто и вышел вон.

Было темно, но Онисиме сразу увидел Шалву. Он сидел на скамье, прислонившись к дереву, и не сводил глаз со звездного неба. Какое-то время Онисиме с удивлением смотрел на него, потом махнул рукой и пошел к станции.

На платформе — ни души. Вокруг тишина.

— Добрый вечер! — приветствовал его дежурный.

— Здравствуй! — улыбнулся ему в ответ Онисиме, поглаживая бороду.

В зале ожидания холодно. Четверо крестьян на полу сладко сопят во сне. На лавке, съездившись, сидит молодая женщина. Глаза у нее закрыты.

Онисиме внимательно оглядел ее. «Ангел, сущий ангел! Верно, ждет поезда. Замерзнет здесь, ох и холодно сегодня!»

К женщине подошел молодой человек в городской одежде. Они стали о чем-то спорить.

«Наверное, муж». Онисиме подошел к ним, кашлянул и вежливо спросил:

— В Кутаиси направляетесь?

— Нет, в Тбилиси, — резко ответил молодой человек. Женщина молча смотрела на подошедшего к ним симпатичного бородача.

— Но тбилисский поезд будет только на рассвете!

— Ничего не поделаешь! — молодой человек не сводил с Онисиме недоуменного взгляда.

— Пожалуйте ко мне, у меня проведете ночь!

Мужчина и женщина переглянулись.

— Пожалуйте, пожалуйста, — повторил Онисиме, подхватывая их чемоданы.

Путникам ничего не оставалось, как последовать за ним.

Анна громко жалуясь на судьбу, умывала детей.

— Принимай гостей, — крикнул с порога Онисиме.

Анна остолбенело уставилась на незнакомцев, но тут же, спохватившись, засуетилась, подала гостям стулья: — Входите, пожалуйста!.. Надо же, а у меня такой беспорядок...

Гости сняли пальто, сели.

Анна выложила на стол все, чем была богата. Быстро замесила тесто для хачапури, зажарила яичницу. Онисиме послал старшего сына за вином. Гости тем временем играли с младшими, угощали их сладостями, а малыши так осмелели, что громко смеялись по малейшему поводу.

Наконец стол был накрыт, Онисиме пригласил гостей, посадил рядом с собой жену, детей.

Наутро он проводил молодых людей на вокзал, переделся в рабочую одежду, взял молоток с длинной рукояткой и пошел вдоль железнодорожного полотна.

Он шагал по шпалам, и удары молотка по металлу от-
мечали его путь.

Дети учились в зестафонской школе. Уезжали в
реним поездом и возвращались послеполуденным, «ка-
занцевским». Анна все дни проводила в хлопотах.

Шло время. Однажды всех свалила лихорадка. Трех
самых маленьких с плачем и причитанием предали зем-
ле. Учу и Тину с трудом выцарапали из рук смерти. Ис-
худали, истаяли дети.

Семья перебралась в Зестафони. В материнской де-
ревеньке Анне выделили клочок земли. Там они пост-
роили дом из шпал. Он смотрел на реку Квирилу.

Дети росли.

Старший, Шалва, собрал свои пожитки и уехал
учиться в Тбилиси. Александр стал революционером.
Мариам выдержала приемные испытания в Кутаисскую
женскую гимназию. Дома остались Тина и Уча.

Анна и Онисиме работали не покладая рук, чтобы
дети были сыты, одеты, обуты.

— От Шалвы ничего не слышно, — сетовала Анна.

— Не маленький, ничего с ним не станется, — от-
вечал Онисиме, теребя бороду, хотя его самого беспо-
коило молчание старшего сына.

— Александр что-то напечатал в газете, — серди-
лась Анна, — весь Зестафони только об этом и говорит,
как бы с парнем чего не случилось.

— Александр — заступник наших рабочих, — Они-
симе был доволен сыном, — что с ним может случиться?

— Как там Мариам в Кутаиси, — беспокоилась
Анна, — не дай бог, повстречает дурного человека.

— Надо было замуж ее выдать, где это слыхано,
чтобы женщины учились?!

— Да, да, — кивала головой Анна, — а что с
младшей делать, не хочет заниматься...

— Отдадим замуж и дело с концом.

— Уча все хворает, — печалилась Анна, — его бы
в город, к врачу...

— Ох, изболелось сердце, глядя на него.

Однажды вечером кто-то крикнул за воротами:
спасайтесь кто может, красные идут, насилуют женщин,

угоняют парней, поганят дома, все отнимают, идут ро-
гатые, хвостатые...

Онисиме не поверил своим ушам.

Заголосила Анна.

От Александра — давно никаких вестей.

Дома гостила Мариам, приехавшая из Кутаиси. Ее милovidное лицо и стройная фигура, казалось, излучали любовь и тепло. Тина, черноглазый бесенок, сгорая от любопытства, наблюдала за сумятицей в доме. Уча был еще мал, чтобы понимать, что происходит, но от отца не отходил.

Продукты припрятали, кур и гусей заперли, Мариам укрыли в деревне.

Легли, но глаз не смыкали — ждали рогатых, хвостатых, поганых.

После полуночи раздался конский топот. Онисиме в одних трусах подбежал к окну, Анна села в постели и, воздев кверху руки, забормотала: «Господи, не оставь нас!». Тина с головой укрылась одеялом.

В дверь бесцеремонно постучали.

Замерли сердца.

— Есть тут кто-нибудь, открывай! — снаружи ударили кулаком по двери.

Дрожащими руками Онисиме отодвинул засов, и в комнату вошли красные — без рогов, без хвостов.

Анна зажгла лампу.

Тина под одеялом наострила уши.

— О-о, — комиссар хлопнул Онисиме по плечу, — ты — первый, кто открыл нам двери, все почему-то боятся! Так у вас принято встречать гостей?

— Гости? — нахмурился Онисиме.

Комиссар был молодой человек с загорелым, обветренным лицом. Он по-хозяйски прошелся по комнате. Потом тяжело опустился на стул.

— Мы очень устали. Если не прогоните, остановимся у вас.

— Анна, — сказал Онисиме, — чего уставилась, принимай гостей, а я схожу за вином!

Ожил дом, построенный из шпал. Тина вылезла из-под одеяла, проснулся и Уча. Солдаты разожгли во дворе костер. Онисиме зарезал кур и гусей, принес вино из марани. Анна испекла мчади и хачапури.

Накрыли на стол, и повеселились на славу гости и хозяйева.

Утром заявился Александр в форме красноармейца, с маузером на боку. Веселье вспыхнуло с новой силой.

На третий день красные уезжали. Комиссар, попросившись с Онисиме, уже собирался вскочить на лошадь, как во двор вошла Мариам. Комиссар замер на месте, солдаты как будто окаменели, даже лошади притихли. У Онисиме задержался ус.

— Моя дочь, — вынужден был признаться он.

— Твоя? — растерянно спросил комиссар и вдруг протянул ему конец поводка: — Я оставляю своего коня в залог того, что вернусь...

— Нет, Давид, конь тебе пригодится, а закончишь свои дела, тогда и потолкуем о свадьбе.

Комиссар с грустью взглянул на Мариам, еще раз поцеловал Онисиме, вскочил на коня и уехал.

Он не вернулся.

Жизнь шла своим чередом. Удлинились дымовые трубы завода ферросплавов, подросли дети.

Шалва, закончив институт, поработал на строительстве линии электропередачи Риони — Тбилиси, затем обосновался в Хашури, устроился в электровозном депо, женился.

Мариам, часто ездившая к брату в гости, встретила в Хашури человека, которого полюбила. Он был директором школы. Вскоре и они поженились. Анна и Онисиме вздохнули с облегчением.

Тина выросла. Ее большие черные глаза лукаво улыбались. Она играла на гитаре и пела на зестафонский манер.

К Онисиме зачастил комсомолец Котиа, сирота. Он учился в Зестафони и почти все свободное время проводил в домике из шпал, сидя у камина и не сводя грустных глаз с бойкой Тины.

У Шалвы родился первенец, его назвали Зурабом. Радости Анны и Онисиме не было границ.

Все были здоровы, довольны жизнью, все шло хорошо. Только вот Александр не думал обзаводиться се-

мьей. Он работал в районной газете и целиком отдавался своему делу.

А потом пропал Котиа. Уехал поступать в военное училище. В глазах Тины застыла печаль, каждый день она ждала письма. Наконец пришло оно, долгожданное. Наглец Котиа вызывал Тину и будущего тестя в Тбилиси.

Тина воспряла духом. Онисиме расчесал усы, перекинул через плечо хурджин и отправился на станцию. За ним косулей шла Тина. В руке она сжимала гитару, единственное свое приданое. Сердце ее готово было петь от счастья.

Котиа встретил их на тбилисском вокзале в блестящих хромовых сапогах. Он по-военному вытянулся перед Онисиме и отнял у него дочь.

Все шло хорошо.

Учу назначили директором школы в Зестафони. Шалва был уже отцом троих детей, у Мариам росли двое, и у Тины родился мальчик — вылитый отец.

Старики как будто помолодели, по-прежнему работали, всем помогали. Летом к ним съезжались внуки и двор наполнялся детскими голосами.

Как-то Александр подъехал на машине, груженной кирпичом.

— Буду ставить новый дом, а потом и женюсь, — объявил он.

Шалва что-то такое изобрел, что помогло усовершенствовать итальянский электровоз.

— Пора бы и Уче обзавестись семьей, — вздыхали родители, — в последнее время он замкнулся в себе... Что с тобой, сынок?

Однажды Уча сказал отцу: — Поеду учиться в военное училище! — Сказал и сделал: уехал в Харьков и поступил там в артиллерийское училище.

Дом опустел.

Анна и Онисиме, вздыхая, смотрели друг на друга и со слезами на глазах читали Учины письма. Сын ободрял стариков, писал, что скоро приедет. А время тянулось медленно.

Александр приходил домой поздно ночью. «Видать, к кому-то таскается». Строительство дома забросил.



Камин гудел, Онисиме изучал газеты, Анна хлопотала по хозяйству — убирала, мыла, стирала, ходила за коровой.

— Что интересного в этих газетах, накопи дров!

— К нам подбирается черное чудище, — отвечал Онисиме, не отрываясь от газет, — оно уже проглотило часть Европы...

— Что ты мелешь! — Анна всплеснула руками. — Чтоб тебя самого проглотило чудище...

Пришла весна, прилетели первые ласточки. Тина привезла из города маленького Гиви, худого, бледного. У стариков появилась забота.

Сообщения в газетах становились все тревожнее. Жертвой черного чудища стала Польша.

Александр все реже заглядывал домой. Он был исполнен оптимизма: дела идут вперед, наша страна — сильнейшая в мире, вооруженная современной техникой, а наш народ — это единая братская семья. Гитлер не посмеет воевать с нами!

— Дай-то бог! — Онисиме с сомнением качал головой.

— Скажи ему, пусть лучше сидит дома! — сердилась Анна. — Совсем доконал меня со своим Гитлером.

Из Харькова позвонил Уча. Вот обрадовались старики! Сперва с ним говорила Анна (глаза на мокром месте), потом Онисиме, потом снова Анна и снова Онисиме. Уча сообщил, что закончил артиллерийское училище и скоро приедет на целый месяц.

Через три дня началась война. Чудище вторглось на нашу территорию. Кто отпустил бы Учу домой! А тут и Александр ушел на фронт. Перед уходом доверил отцу тайну: «У меня есть жена и ребенок, присмотрите за ними». Обиделись старики, не зря, значит, болтали, что Александр крутит любовь с разведенкой.

Зятя тоже ушли на фронт. Котиа — начальником батальона, а Варлам — политруком Грузинской дивизии. Шалву призывать не стали — он работал инженером в депо. Но военную форму выдали и доверили ремонт локомотивов.

Настали горестные дни.

Чудище, добравшись до Кавказиони, вздумало перелезть через него. На Марухском перевале его встретил Котиа со своим батальоном.

Дивизия Учи стояла в Харькове.

Варлам воевал в Керчи.

Александр защищал подступы к Москве.

Онисиме не покладая рук работал день и ночь, чтобы и внуки были сыты, здоровы, и фронту чем-нибудь помочь. Потому, отработав полный рабочий день на железной дороге, он по вечерам стучал мотыгой на колхозных полях и виноградниках. А ночью при свете лампы читал газеты.

На Анне держался дом. Она стирала, шила, готовила. У нее на руках были трое Тининых сыновей, дочь и сын Мариам и ребенок Александра, Шалва с семьей изредка наезжал из Хашури.

Время тянулось медленно, но все-таки двигалось вперед.

В Керчи шли кровавые бои, Варлам пропал без вести.

Враг взял Харьков, никто ничего не знал о судьбе Учи.

Котиа дал отпор чудищу у Марухи и теперь воевал на Волге. В битве за Сталинград он уже командовал дивизией.

И Александр показал немцу кузькину мать — разбил его наголову на подступах к Москве.

Анна доила корову, из молока делала сыр, из сыворотки — надуги. Варила кашу, кормила внуков, сыр продавала и на вырученные деньги покупала им одежду.

Старикамдохнуть было некогда, оба разрывались на части. Неожиданно Шалва, о котором они меньше всего беспокоились, заболел тифом и умер.

Четверо ребят остались без отца. Старшему, Зурабу, было пятнадцать, младшему — семь.

Анна все глаза выплакала. Сердце замирало от страха, когда она думала об остальных сыновьях и зятях.

Где Уча, где Варлам?

«Александр, сынок, Котиа, родной, разыщите Учу, найдите Варлама, возвращайтесь, возвращайтесь домой!»



Александр не смог найти ни Учу, ни Варлама, крошечный осколок мины пробил ему грудь. «Твой сын погиб как герой», — рыдал Онисиме. Анна не могла плакать, она не верила в гибель сына.

— Устал я, — сказал однажды утром Онисиме своей верной подруге, — нету сил, я оставляю тебя одну, прости, — и закрыл глаза.

— Что ты мелешь! — крикнула Анна. — Бросаешь на меня все — детей, врага и ближнего? Подымайся сейчас же!

— Погоди, погоди, — вырвалось у Онисиме, он хотел сказать, что умирает, но Анна уже не слушала его, она подняла его на ноги, сложила еду в сумку и отправила в поле.

Внуки росли. Дети Шалвы стали чаще навещать дедушку и бабушку, особенно Зураб. Приезжал, наполнял сумки бабушкиными дарами и — обратно домой. Он был очень способным мальчиком, учился на пятерки, читал в оригинале Цвейга и Шиллера, увлекался астрономией и математикой.

Шло время. На земле создавалась атомная бомба.

Чудище отползало к своей берлоге.

Тина работала в Тбилиси на заводе. Изредка приезжала в деревню взглянуть на детей и тут же уезжала. Она делала снаряды.

И Мариам была занята по горло. Вдова Александра принесла еще одно горе старикам: бросив ребенка, сбежала с залетным офицером.

Онисиме сильно сдал. Горе согнуло его в буквальном смысле: он весь сгорбился, руки стали длиннее, усы и борода побелели. Но продолжал стоять на ногах, чтобы работать и мучиться, — так было надо.

Анна отводила душу в бесконечных спорах с детьми.

Котиа выполнял данное слово: гнал зверя в берлогу. Неожиданно возле Берлина осколок снаряда угодил ему в ногу. Война для него кончилась. Он вернулся домой без ноги. Блестящие хромовые сапоги оказались ненужными, он потрясал кулаками и на чем свет стоит ругал Гитлера: на что годен одноногий солдат!

Ему подыскали подходящую работу, он забрал де-

тей из Зестафони и тем самым облегчил жизнь старикам.

Однажды вечером Онисиме прилег на постель, не проронив при этом ни слова, — как бы Анна опять не заставила его подняться, — и утром не проснулся.

Анна оплакала своего верного друга, а с нею вместе и внуки, дочери, невестка, одноногий Котиа. Оплакали и предали его земле.

Вскоре подал о себе весть пропавший Варлам. Он бежал из плена, воевал вместе с партизанами и теперь уже в рядах действующей армии шел на Берлин.

Анна не теряла надежду, что и Уча даст о себе знать, да и Александр тоже, ведь она не видела его мертвым, но ей некогда было сидеть сложа руки в ожидании, внуки почти совсем оперились, и она самоотверженно заботилась о них.

Чудище уничтожили в его собственной берлоге.

Война кончилась.

Варлам вернулся и вновь стал во главе школы.

Внуки разъехались, и у Анны появилось время для ожидания. Она выносила во двор скамейку, смотрела с пригорка на дорогу. Ждала Учу и Александра тоже. Хотя больше верила в Учино возвращение — младший сын не может не вернуться.

Зураб, сын Шалвы, кончил школу и в драных штанах уехал в Москву. Успешно сдал экзамены в университет. «Я поставлю атомную энергию на службу народу».

Вскоре и сын Котии закончил школу. У него обнаружился дар к рисованию...

А потом пришел черед сына Александра. Он пошел по стопам дяди — сдал экзамены в харьковское военное училище.

Жизнь набирала темп. На глазах у Анны Зестафони вырос в крупный город.

А потом в космос запустили спутник.

Анна сидела на скамейке и смотрела на дорогу.

Домик из шпал прогнил, крыша прохудилась и перекосилась.

Тина и Мариам время от времени навещали мать, привозили ей лекарства, что-то наспех делали по хозяйству и спешили обратно к своим семьям.

Внуки приезжали редко, они были заняты важными делами.

Анна продолжала жить одна. Выносила скамейку, ставила ее на пригорок и смотрела на дорогу. Шло время, и однажды она не встала со своего сиденья, там и нашли ее соседи, окоченевшую.

И устремились к ветхому домику Анны родные и близкие. Из Москвы прилетел Зураб с женой и детьми, из Тбилиси — Тина и Котиа, Мариам и Варлам тоже с детьми. Двор заполнился, ожил.

Стояла ранняя весна, солнце пригревало, редкие остатки снега таяли, и было слякотно.

Внуки бережно понесли гроб с телом бабушки на кладбище. Похоронили. И на обратном пути домой почувствовали власть весны.

Дорога шла перелеском.

Гиви остановился в изумлении — лужайка была сплошь устлана фиалками. Замерли и остальные. «Какая красота!» — вырвалось у кого-то.

Зураб нагнулся и сорвал фиалку.

— Бабушка Анна оставила нам эту красоту, — прошептал Гиви, склоняясь над фиалками. За ним склонились и остальные...

ВЫСТАВКА

БИКЕНТИ изменился.

Раньше всех это поняла жена, но поначалу не придала этому факту особого значения. Вообразите, даже радовалась, что муж отказался от некоторых своих старых привычек.

Бикенти повысили по службе, и это, естественно, должно было как-то отразиться на его характере. Довольная жена любовно заглядывала ему в глаза, но со временем, когда Бикенти стал запирается в своей комнате и — о боже! — рисовать, она не на шутку встревожилась.

Бикенти сразу понял — его характер не для новой должности. Отныне во всем следовало соблюдать уме-

ренность, сдержанность, говорить степенно, умно; он забывал, что нельзя улыбаться всем подряд, выказывать свои симпатии. Прежде он просто не задумывался над этим, и все шло нормально.

Сейчас улыбнуться лишний раз значило распустить подчиненных, проявить свою любовь, особенно по отношению к близким, — спровоцировать новую просьбу, разволноваться — подчеркнуть свою слабость. И так далее. Бикенти всячески старался соблюдать умеренность в проявлении своих чувств, но переломать себя было трудно. Как, скажите на милость, сохранить спокойствие, когда открывается дверь и входит твой школьный товарищ, которого ты не видел двадцать лет?! Он входит и улыбается во весь рот, а ты попробуй не улыбнись в ответ, не обними, не расцелуй его. И на первых порах Бикенти, позабыв обо всем, улыбался, заключал в объятия возникшего подобно привидению друга, родственному приветствовал его. Потом, правда, горько сожалел об этом: его забрасывали просьбами, которые по плечу разве только самодержцу, а ведь Бикенти был, в сущности, весьма скромным служащим.

С новой должностью возник и круг льстецов вокруг него. Вчерашние друзья сегодня угодничали, заискивали перед ним. Бикенти делал вид, что не замечает их унижительного поведения; по утрам, не оглядываясь по сторонам, почти бежал по коридору к своему кабинету, чтобы не видеть низких поклонов и льстивых взглядов, и если кто-нибудь все же умудрялся преградить ему путь и, искательно заглядывая в глаза, поприветствовать его, у Бикенти безнадежно портилось настроение.

Удивительнее всего было то, что дружбу с ним старались завязать люди, которые прежде были ему неприятны. Эти продувные бестии бесцеремонно, когда вздумается, входили к нему в кабинет, разговаривали запанибрата и, представьте себе, поучали даже. Они раздражали Бикенти, он старался не поддаваться под их влияние, не доверять им, но, увы! — слишком силен был натиск.

И домашние не оставляли его в покое. Поминутно звонила жена, просила машину: то ей надо было съездить в Марнеули за покупками, то на рынок, то показать госте Мцхета или отвезти ребенка к педагогу и так далее и тому подобное.

— Убери, я сказал! — крикнул он снова, и, поскольку опешивший Дзалиашвили застыл на месте, схватил сверток, сунул в руки незадачливому просителю и вывел его из кабинета.

— Как он посмел, как он посмел! — Бикенти запер дверь на ключ и, приложив руку к сердцу, рухнул в кресло. — Надо было вызвать милицию, — он задумался, все еще не отрывая руки от груди, — но мне бы сказали, что я сам дал ему повод, сам дал! Не надо было улыбаться и подмигивать не надо было, а тем более хлопать по плечу!

Бикенти погрузился в невеселые мысли. Вдруг ему показалось, что окно в кабинете открылось и Дзалиашвили мягко прыгнул с подоконника на пол. Не мешкая, он неслышно подбежал к столу, положил в ящик пачку денег и мигом удалился тем же путем, что и пришел.

Бормоча что-то под нос, Бикенти встал и подошел к окну. Оно оказалось запертым. «Ну и ну!» — пробормотал Бикенти. Он был не на шутку встревожен и удручен. Как хорошо жилось ему раньше, когда он был волен в своих поступках, ничто и никто ему не мешал. Сейчас же надо обдумывать каждый свой шаг, делать все, чтобы не выдать своих чувств. Бикенти машинально водил карандашом по бумаге, размышляя, как найти выход из создавшегося положения.

В один прекрасный день он опаздывал в министерство, а машина, как назло, тащилась медленно, как телега. В ответ на его демонстративное поглядывание на часы шофер разводил руками: запрещен поворот, запрещено превышать скорость. И Бикенти вдруг пронзила счастливая мысль: создать для себя лично запрещающие и предупреждающие знаки!

Эта мысль так пришлась ему по вкусу, что он в министерстве же, на совещании создал первый знак: «Улыбка запрещена!» И тут же с лица Бикенти исчезла улыбка. Воодушевленный первым опытом, он стал выдумывать новые знаки. Запирался в своем кабинете и рисовал. «Будь спокоен и невозмутим!» — призывал один знак. «Не кричи!» — предупреждал второй. «Душевное тепло пагубно!» — напомнил третий.

Бикенти увлекся; столько знаков, предупреждающих и запрещающих, роилось у него в голове, что, по-

забыв все на свете, он только и делал, что рисовал. Но служебный долг взял свое, и в конце концов возник знак: «Рисовать в кабинете воспрещается!» Бикенти вынужден был продолжать свои упражнения дома. Вскоре это увлечение стало для него насущной потребностью. Он приобрел масляные краски, кисти, холст. Заново переписал все знаки красками и развесил на стенах своей комнаты. Бикенти часами мог любоваться своими полотнами. Он запоминал их. И даже спустя время они стояли у него перед глазами. Зачастую, представляя их себе, он настолько отключался, что это не ускользало от внимания окружающих.

Жена поначалу не приняла в расчет его безобидное, как ей казалось, увлечение: «Бог с ним, пусть рисует, мне-то что...» Но муж часами просиживал в своей комнате, забыв обо всем на свете — и о ней, и о детях, и о работе. И жена, естественно, встревожилась: что с ним? Бикенти хранил молчание, никому не выдавал своей тайны. Ему одному было известно значение каждого рисунка.

Как-то он подумал, хороши ли его работы, и с тех пор эта мысль не оставляла его. Он, правда, рисовал для себя, но понимал, что долго так продолжаться не может, придет и время их оценки. Однажды Бикенти позвал жену и спросил ее мнение. Подруга жизни растерялась, ничего не поняла и, не на шутку испуганная, твердила одно и то же: — Для чего тебе это, Бикенти, родной, для чего?!

Бикенти подавил гнев — рисунки запрещали сердиться, любезно выпроводил жену из комнаты и предался своим мыслям.

На другой день он отправился в художественную галерею, где были выставлены произведения молодых художников, а потом — в Музей искусств. И пришел к твердому убеждению, что его работы лучше многих увиденных им. Он нашел много общего между своими рисунками и произведениями абстракционистов-примитивистов, причем его полотна, как ему показалось, давали им сто очков вперед. Это открытие окрылило его.

Он вернулся домой в превосходном расположении духа. Но попав в мир, созданный собственным вообра-

жением, утратил прежнюю уверенность в себе. Некий сатанинский голос начал нашептывать ему: «Не заисись, Бикенти, ты ведь не художник...» Бикенти заметался по комнате в поисках опровергающего аргумента, но, так и не найдя что возразить таинственному голосу, схватился за кисть и создал новое, девятнадцатое по счету полотно: «Не возгордись!». И только повесив его на стену, Бикенти успокоился: да, он не художник, да, он обыкновенный человек, и ему не следует задирать нос.

Жена с трепетом смотрела на дверь мужниной комнаты, лелея в душе надежду, что вот-вот она откроется и выйдет прежний Бикенти, добрый, ласковый, прижмет к груди ее и детей, и они вновь будут счастливы.

Потеряв надежду, жена обратилась к психиатру. Известный врач-психиатр Тимотэ Саканделидзе сидел за столом и разбирал какой-то аппарат.

— Помогите, доктор, — взволнованно произнесла жена Бикенти, войдя к нему в кабинет, — я не хотела беспокоить вас, но...

Тимотэ окинул взглядом посетительницу и указал на стул — садитесь, мол. Жена Бикенти села на краешек стула и вытерла глаза.

— Доктор, кажется, я погибла, мой муж... — она не закончила фразы, слезы душили ее.

— Что с ним? — Тимотэ бросил на нее проницательный взгляд. — Смеется без причины?

— Нет, доктор, — всхлипнула жена Бикенти.

— Кричит?

— Нет, — она покачала головой.

— Пьянствует?

— Что вы!.. — слабая улыбка показалась у нее на лице.

— Угрожает вам?

— Боже упаси!

— Ненавидит себя?

— Нет, нет, доктор!

— Так что же все-таки с вашим мужем? — Тимотэ вскочил и нервно прошелся по комнате.

— Он рисует, — тяжело вздохнув, проговорила жена Бикенти.

— Рисует? — Тимотэ застыл на месте и внимательно посмотрел на посетительницу. Затем медленно подо-



шел к ней, оперся рукой о спинку стула и, вперив в нее пронизывающий взгляд, спросил: — Вы уверены в том, что он рисует?

— Да, доктор, рисует, день и ночь напролет.

— Хорошо, очень хорошо!.. — мечтательно произнес Тимотэ.

Глаза супруги Бикенти округлились от изумления.

— Хорошо, — еще раз повторил Тимотэ, — сколько рисунков у вашего мужа?

Какое-то время она сидела, опустив голову, мысленно представляя комнату мужа.

— Не знаю, не считала, — наконец произнесла она.

— Приблизительно, десять будет?

— Гораздо больше!

— О, это очень интересно, — воскликнул он взволнованно, — редкий случай, весьма редкий!

Тимотэ как раз работал над докторской диссертацией, темой которой являлось поведение больных, одержимых страстью к рисованию. Почти все такого рода больные горожане были взяты им на учет, наиболее интересные из них помещены к нему в клинику, где имелись все условия для занятий рисованием.

Супруга Бикенти сидела в полном ошеломлении, не зная, рассказывать о своем горе дальше или нет. Тимотэ безмолвствовал. Наконец она не выдержала и робко произнесла:

— Доктор, я совсем не узнаю своего мужа.

Тимотэ медленно повернул голову и внимательно посмотрел на нее.

— Он был таким любящим, добрым, славным, — продолжала она, — он всегда улыбался, а сейчас ходит чернее тучи, смотрит волком, — она вздохнула, — и на детей не обращает внимания... Он очень переменился после того, как начал рисовать!

Вернувшись с работы, Бикенти прошел прямо в кабинет, сел за письменный стол и устался на свои рисунки. В это время дверь неожиданно отворилась. Бикенти даже вздрогнул от неожиданности, давно уже к нему не входили не постучавшись. Дверь отворилась, но никто не переступил порога. Бикенти откинулся на

спинку кресла и закрыл глаза: «Наверное, мне это кажется». Когда он открыл глаза, на пороге стоял неизвестный и, играя тростью, улыбался ему во весь рот. Это был Тимотэ. Сняв шляпу, он непринужденно кивнул Бикенти и подошел к столу. Еще несколько месяцев назад появление незваного гостя не смутило бы Бикенти, он всегда отличался радушием, но сейчас, взглянув на собственный рисунок, запрещающий принимать гостей, он с надеждой подумал: «Это привидение, оно сию минуту исчезнет». Однако незнакомец не исчез, напротив, положив трость и шляпу на стол, волчком завертелся по комнате.

— Прекрасно! Невероятно! Редчайший случай! — говорил он с воодушевлением. — В моей практике ничего подобного не было, целых девятнадцать рисунков!

Бикенти следил за ним глазами, но быстро утомился и опустил голову.

— Вы — великий художник! Да, да, великий! — не унимался гость.

— Я великий художник? — в изумлении пробормотал Бикенти.

— Да, вы! — Тимотэ отвесил ему поклон. — Вы непременно должны выставиться, ваши работы — народное достояние.

У Бикенти заблестели глаза, ведь именно о выставке он и... впрочем, нет! Он бросил взгляд на девятнадцатую свою работу, которая призывала: «Не возгордись!»

— Не смотрите на нее! — Тимотэ подбежал к картине и повернул ее лицом к стене.

Бикенти вскочил, ему захотелось заключить незнакомца в объятия, но тут он невольно перевел глаза на рисунок, воспрещающий изъяслять радость, и сник.

— И на это не смотрите! — и Тимотэ ткнул пальцем именно в ту картину, которая не разрешала выказывать радость. — Или воспринимайте по-другому!

Бикенти растерялся. Незнакомец сел перед ним на стул, и какое-то время они молча смотрели друг на друга. Наконец Тимотэ улыбнулся и по лицу его разбежались морщинки.

— Смейся, смейся! — он ободряюще хихикнул. — Забудь об этом, — он махнул рукой на рисунок, запре-

щавший Бикенти смеяться, но на лице художника-самоучки не дрогнул ни один мускул.

Дверь снова отворилась и вошла жена Бикенти. Незнакомец поднялся и почтительно устремился ей навстречу.

— Должен вам сказать, что ваш муж — превосходный художник, мы устроим выставку его работ. — С этими словами Тимотэ вышел из кабинета.

«Значит, это было не привидение», — подумал Бикенти, как только за гостем закрылась дверь.

С того дня мысль о персональной выставке засела у него в голове и ни о чем другом он думать не мог. Придя с работы домой, он по-прежнему запирался в своем кабинете и с нетерпением ждал появления Тимотэ.

Как-то раз ему пришлось понервничать на работе, и он вернулся домой в полном смятении чувств. С ним уже неоднократно случалось такое, и каждый раз Бикенти спешил выместить накопленные за день обиду и злость на своих рисунках. Но стоило взглянуть на них, как душевное равновесие восстанавливалось. И в тот вечер он переходил от рисунка к рисунку, чувствуя растущую умиротворенность в душе. Тут дверь отворилась и вошел Тимотэ. На его лице сияла улыбка: — Все в порядке! — торжественно объявил он. Дальнейшее походило на сон: картины были перевезены в просторный побеленный зал, Бикенти собственноручно развешивал их по стенам, а Тимотэ помогал ему. Они смеялись, спорили и наконец сошлись на следующем: на одной из стен в центре Бикенти повесил основную свою работу — «Не возгордись!», над ней он поместил рисунок, запрещающий улыбаться, под ней — запрещающий кричать, справа и слева от нее — «Семейное тепло пагубно!» и «Не проявляй родственной любви!». Далее шли другие, менее значительные работы, как то: «Говори спокойно и умно», «Не поступай легкомысленно», «Избегай льстецов, пройдох и прочей мерзости». На других стенах висели рисунки, запрещающие брать взятки, кутить с сотрудниками, призывавшие избавляться от друзей. Наконец все было развешено, и Тимотэ, взглянув на часы, объявил — пора открывать

выставку. Бикенти почувствовал дрожь в коленях.

— Добро пожаловать! — Тимотэ распахнул двери.

На пороге показался высокий мужчина в синей пижаме. Скрестив за спиной руки, он с надменным видом прошелся по залу, между прочим оглядел картины и, слегка кивнув Тимотэ, остановился в отдалении.

«Где я мог его видеть?» — мучительно думал Бикенти, пристально глядя на посетителя.

— Ну как вам выставка, Евстафьевич? — громко спросил Тимотэ.

Едва повернув к нему лицо, тот спокойно ответил:

— Мы рассмотрим этот вопрос и дадим письменный ответ.

— Вы окажете нам честь, — Тимотэ кивнул ему в знак одобрения.

В зал вошли еще несколько человек, и все в синих пижамах. Бикенти разинул рот и вопросительно посмотрел на Тимотэ: «Кто они такие?» Тот как ни в чем не бывало улыбался посетителям.

Бикенти показалось, он увидел знакомые лица. Вон, к примеру, того, что мечется по залу, чуть не задевая картины, он определенно где-то встречал, и этого, лысого, чему-то подозрительно смеющегося, тоже, но где, когда?

— Разве время заниматься этой ерундой? — крикнул вдруг лысый. — Мы трудимся в поте лица своего, выбиваемся из сил, а они тут развлекаются! Ха-ха-ха!

Бикенти ушам своим не поверил. В это время к нему подошел длинноволосый молодой человек.

— Вы автор работ? — спросил он.

— Да, — Бикенти робко кивнул.

— Замечательные работы, мне очень понравились, хотя, по правде говоря, я думал, вы гораздо моложе, — длинноволосый замолчал, отошел в сторону и, подперев рукой подбородок, уставился на картины.

Похвала принесла отраду душе. Бикенти решил подойти к молодому человеку и завязать с ним беседу, но тут с ним заговорил мужчина с длинным носом.

— Ваши рисунки собираются похитить и тайно продать, — сказал он, хихикая, — они все продают, да-да, все, вплоть до собственной совести, — он снял невидимую пылинку с рукава пижамы Бикенти.

Сколько раз доводилось ему слышать это наушни-



ческое хихиканье, но где, когда?.. Носатый не поднимал головы, словно стыдился посмотреть ему в глаза.

— Не позволяйте им делать это, — продолжал нашептывать носатый, — они идут, идут сюда!

Бикенти оглянулся было, но в этот момент кто-то обхватил его шею руками, прямяв воротник пиджака.

— А где идея? Где мораль? Почему выхолощено содержание картин, почему?

Бикенти попытался высвободиться, но незнакомец не отпускал его.

— Успокойся, успокойся! — раздался голос Тимотэ.

— Мне ничего нельзя, а им все дозволено?! — незнакомец повернулся на голос, потеряв вдруг всякий интерес к Бикенти.

Тот с облегчением вздохнул, поправил воротник пиджака и хотел было спросить Тимотэ, кто этот псих, о какой морали или идее он тут толкует, как к нему подошел лохматый молодой человек с выпученными глазами. Приложив руку к сердцу, он церемонно поклонился.

— Должен вам откровенно признаться, что ваши работы мне не нравятся.

Бикенти поморщился: «Скажите, пожалуйста!»

— Никакие это не работы, — Бикенти хотел сказать, что это запрещающие знаки, но вовремя прикусил язык: ему могли возразить, и вполне резонно, почему он устроил выставку запрещающих знаков.

— Возможно, у вас был совершенно иной замысел, — продолжал свое лохматый, вращая выпученными глазами, — но если вам не удалось донести его до зрителя, эмоционально воздействовать на него, — тут он с сожалением покачал головой, — тогда грош цена вашему творчеству.

Бикенти в растерянности провел рукой по лбу. Он думал, все будут в восторге от его рисунков: «Молодец, Бикенти, молодец!» Он не ожидал такого скандала. «Я всего-навсего художник-самоучка, — оправдывался он в душе, — у меня почти не было времени, я рисовал как умел, себя не щадя».

— Никому никаких послаблений, когда дело касается искусства, — продолжал косматый, — вы по-

нимаєте, никаких! Если вы художник, то должны полностью отдаваться творчеству, в противном случае... — он поджал губы в брезгливой усмешке и еще более выпучил глаза.

Бикенти покрылся холодным потом. «Зачем только я взялся за кисть?» — в отчаянии думал он. Косматый какое-то время еще стоял и смотрел на него, поджав губы, потом повернулся и пошел к выходу.

«Что им нужно? Кто они такие?» Бикенти бросил на Тимотэ вопросительный взгляд, но внимание Тимотэ было поглощено приближавшимся к ним мужчиной весьма странной наружности: голова тыквой, почти лишенная растительности, с пучком волос на затылке, жирный угреватый нос, мохнатые брови на блестящем треугольном лбу, придававшие его пасмурным глазам еще более мрачное выражение. Мужчина шел, пританцовывая, останавливаясь через каждые несколько шагов. Подойдя таким образом вплотную к Бикенти, он раскрыл руки и воззвал к нему:

— Искусство есть средство выражения наших внутренних эмоций. Писатель воплощает свой замысел в слове, художник — в красках; кому непонятна тайна гаммы цветов, тот никогда не постигнет идеи художника, напрасны его старания, и он начинает наливать злостью... Безотраднa наша жизнь, но еще более — суета, суета сует!

Бикенти слушал его, разинув рот: «Что ему нужно, чего он пристал?» А странный человек продолжал:

— Умножились бесталанные, любители дешевой славы, плагиаторы, дуалисты, фальсификаторы, проститутки, дармоеды, стяжатели, флегматики, формалисты, сплетники...

— Довольно, довольно! — прервал его Тимотэ.

Человек умолк и, пританцовывая, направился к выходу, пучок жидких волос на затылке трепетал от негодования.

Тимотэ посмотрел на дверь и во всеуслышание объявил:

— Микеланджело!

— Кто?! — Бикенти показалось, что он — сходит с ума.

В зал стремительно вошел низкорослый мужчина (тоже в синей пижаме). Чуть склонившись вперед



OT
041935940
00220100333

заложив руки за спину, он торопливо переходил картины к картине, то и дело озираясь по сторонам.

— Многоуважаемый синьор Микеланджело, — Тимотэ, а за ним Бикенти поспешили к нему, — автор работ желает познакомиться с вами.

— Это вы, юноша? — он поднял на Бикенти удивительно красивые глаза, криво усмехнулся и, мило-стиво протянув руку, совершенно отчетливо произнес:— Микеланджело Буонарроти.

— Бикенти, — пробормотал в ответ Бикенти, устыдившись своего ничтожного имени.

Микеланджело приблизился к рисунку «Не возгордись!» и, улыбаясь, поманил автора к себе. Не чуя под собою ног, Бикенти пошел к нему. Его, конечно же, интересовало мнение Микеланджело и в то же время томил страх, он в растерянности оглянулся на Тимотэ: «Что делать?». Тимотэ улыбался.

— Меня поразили ваши краски, — говорил между тем Микеланджело, — но что вы хотите сказать этим? — он замолчал и уставился на Бикенти, однако, не получив ответа, продолжал: — Это вас не касается, художник должен служить красоте, понимаете, красоте!

Бикенти бросило в жар, он хотел было крикнуть: «Я не художник!», но язык не слушался его.

— Зачем вам столько темной краски? — продолжал Микеланджело. — Темная краска душит фантазию!

Бикенти схватился за воротничок.

— Я, я... — вякнул он и умолк, уставившись на дверь.

— В чем дело, юноша, прошу не отвлекаться, — Микеланджело задержал на нем свой лучистый взгляд, — вы ничего не добьетесь столь примитивными средствами. Мы должны постичь идею, чтобы выразить ее реалистически в симфонии красок, вот взгляните на мои рисунки...

И тут Бикенти вспомнил, что его ждет масса дел: надо было срочно представить отчет в министерство, подвести итоги соцсоревнования, пересмотреть планы, проконтролировать деятельность комиссии по распределению жилплощади и, наконец, ответить на кучу за-

явлений, запертых в ящике его стола... Он провел рукой по лбу и взглянул на Тимотэ. Тот, затаив дыхание, слушал Микеланджело. На лице его блуждала улыбка.

Бикенти усмехнулся. Он уже не слушал Микеланджело, он только о том и думал, как бы поскорее выбраться отсюда. Он был согласен бросить все свои творения в этом большом побеленном зале, освободиться от них и обрести наконец покой.

ОДЕРЖИМЫЙ

ДМИТРИЙ Буркадзе любил подземные переходы. Мы, говорил он, люди, под землей пусть шныряют машины. С пухлым портфелем в правой руке он стоял на краю тротуара и, нервно сжимая левую, смотрел на непрерывный поток машин. Наконец, решившись, шагнул на мостовую. На цыпочках, как бы крадучись, он пробирался к противоположной стороне улицы, брезгливо посматривая на машины, мчащиеся прямо на него.

Вот уже три года, как все помыслы Буркадзе были поглощены животрепещущей проблемой человечества. Нет, она и раньше занимала его, но так самоотверженно он никогда ее не отстаивал, а без борьбы разве чего-нибудь добьешься?! Сегодня решится судьба проекта Димитрия, сегодня!

Димитрий остановился на минутку и перевел дух. Перед ним возвышался шестнадцатизэтажный жилой дом. На балконе последнего этажа стоял ребенок. Как показалось Димитрию, он грустно смотрел вниз, на землю.

«Потерпи немножко, дитя мое, — мысленно обратился к нему Димитрий, — скоро все изменится, скоро все вздохнем». Он сунул портфель под мышку и с грозным видом зашагал дальше.

В коридоре института царил тишина, двери комнат были закрыты. Димитрий неслышно прошел по коридору и, подойдя к архитектурному отделу, остановился и стал мысленно повторять свою речь: «Товарищи, если так будет продолжаться, вы погубите человечество, жизнь исчезнет и место живого существа займет машина...»

В коридоре показались члены совета. Оборвав нить своих мыслей, Димитрий уставился на них. Члены совета в свою очередь с вниманием разглядывали его. Вдруг Димитрий увидел среди них знакомого: ну конечно, это Отар! Когда-то они ходили в одну школу. Буркадзе заканчивал десятый класс, а Отар учился в восьмом. Димитрий пошел ему навстречу и с важным видом приветствовал его.

— Ты, значит, архитектор? — спросил он под конец, хотя прекрасно знал, что Отар архитектор.

Отар пожал плечами и ничего не ответил. Димитрий положил ему руку на плечо: — Начинайте, начинайте свое заседание, посмотрим, какие вы молодцы! — Скажем прямо, встреча с Отаром мало обрадовала его, в обществе таких знакомых Димитрий испытывал большую робость, чем с людьми незнакомыми.

Буркадзе вошел в комнату вслед за членами совета, и взоры присутствующих разом устремились на него. Здесь были директор проектного института, заведующий отделом, главный архитектор и доцент кафедры архитектуры уважаемый Вахтанг Николаевич. Остальных Димитрий видел впервые, среди них было много молодых, и он почему-то решил, что они не будут принимать участия в обсуждении. Легким кивком головы Димитрий поздоровался со всеми и положил портфель на стол.

Тут поднялся заведующий отделом, сунул руку в карман брюк, захватив с собой и пиджачную полу, и произнес коротко и ясно:

— Товарищи, сегодня мы обсуждаем проект товарища Буркадзе, затрагивающий проблемы градостроительства. Выслушаем его внимательно и дадим свое заключение, — он обернулся к Буркадзе: — Поскорее развешивайте свои чертежи.

— Почему вы торопите меня, — обиделся Димитрий, — три месяца я ждал этого дня, с трудом дождался... — он деловито раскрыл портфель, вынул оттуда два сложенных чертежа, бережно раскрыл их, прикрепил кнопками к стене и уверенно начал: — В наш бурный век техника понемногу теснит адамово племя. Не за горами день, когда полностью поработенный техни-

кой человек останется вне живой природы. Во многих странах уже можно встретить подтверждение этому. Взять хотя бы Токио. Кислород там продается на улицах, подобно лимонаду, тротуары Парижа заставлены машинами, вышедшими из строя, а города Америки — разве можно жить в небоскребах?! — Димитрий вычитал все это в газетах, и потому, наверное, никто с ним не спорил.

Старейший представитель архитектурной школы Николай Иванович с изумлением на лице слушал докладчика, время от времени глубоко затягиваясь сигаретой. Наконец, не выдержав, раздавил в пепельнице окурок, встал и подошел к чертежам. Какое-то время он довольно внимательно изучал их, его изборожденное морщинами лицо сморщилось еще более, он растерянно переводил взгляд с параллельных линий на ломаные, с диагоналей на квадраты. В конце концов, поправив очки, отошел на шаг и, еще раз окинув взглядом чертежи, уставился на Буркадзе.

— Почему ворона живет долго? — продолжал между тем Димитрий. — Потому что она все время находится в движении, при этом, заметьте, у нее нет прямой кишки, в которой собираются нечистоты, отравляющие организм. А человек благодаря технике двигается очень мало...

— Что это вы начертили? — неожиданно прервал его Николай Иванович.

— Повремените, придет черед и чертежей, — резко ответил Буркадзе и продолжал: — Нечистоты задерживаются в организме, организм отравляется, и человек до времени стареет...

Николай Иванович с тем же выражением изумления на лице вернулся на свое место и в недоумении спросил своих коллег: «Кто это?».

— Люди должны жить в непосредственном контакте с природой, — продолжал уверенно Димитрий, — и необходимое условие для этого — одноэтажные жилые дома!

— Да, конечно, в идеале, — отозвался заведующий отделом.

— Вот и вы со мной согласны! — обрадовался Димитрий и потянулся за портфелем.

— Я никогда не утверждал, что одноэтажные до-

ма негодны для жилья! — заведующий отделом пожал плечами.

— Все хорошо, но что ты хочешь этим сказать? — поинтересовался Отар.

— А то, — неожиданно разозлился Буркадзе, — что вместо многоэтажных домов надо возводить одноэтажные, вот такие! — с этими словами он вынул из портфеля параллелепипед из целлулоида и с торжественным видом поднял его над головой.

— Что это? — вопрос принадлежал молодому архитектору Мерабу.

— Вот такие дома со стенами из стекла, стоящие на одном столбе, — продолжал Дмитрий, пропустив вопрос мимо ушей, — формой они будут похожи на со- ты. Выросла семья — пристраивай с каждой стороны по комнате!

— Такие дома не в новинку, они давно строятся, — воскликнул заведующий отделом, — но, разумеется, не со стеклянными стенами.

— На крыше, — Дмитрий снова оставил реплику без внимания, — устраивается терраса, здесь можно разводить зелень, помидоры, все это нынче так дорого на рынке! А у вас, пожалуйста, будет дома расти, упадет нужда ходить на рынок! Лестница будет устроена так, что ни одно пресмыкающееся не сможет проникнуть в дом, вот лестничные заслоны, — он вынул из портфеля какую-то штуку из целлулоида и стал внимательно ее разглядывать.

Молодежь засмеялась, заведующий отделом улыбнулся.

— Казалось бы, откуда взяться пресмыкающимся? — спросил Вахтанг Николаевич, обращаясь к заведующему отделом (он был рецензентом и прочел труд от корки до корки), и сам же ответил: — Он объяснит, у него на этот счет свои соображения.

— Мы вот уничтожаем змей, — продолжал Буркадзе, — раз они нас кусают, значит им и не жить? А ведь это живые существа, и притом весьма нужные!

— Черт знает что! — проговорил главный архи-

тектор Григорий Ермолаевич, проводя рукой по лисой голове.

Раздался дружный смех. Буркадзе положил макет из целлулоида на стол, обвел аудиторию грустным взглядом и тихо произнес:

— Вы вот смеетесь, никого не жалеете, а людям душно на этих ваших десятых и шестнадцатых этажах!

— Почему? — Николай Иванович глубоко затаился и сощурил глаза. — Перед сном они могут гулять внизу в парках и садах, а на субботу и воскресенье выезжать за город...

— Легко сказать! — гневно возразил Буркадзе. — Попробуйте, спуститесь по лестнице с одиннадцатого этажа, а потом поднимитесь пешком!

— А лифты для чего? — улыбнулся Мераб.

— Лифты?! — Буркадзе посмотрел на него с отвращением. — Эти ваши лифты чаще всего не работают.

— Надо обратиться в управление коммунального хозяйства, — Отар вскочил, — это не наша забота.

— А не вы ли проектируете такие дома?! В доме, построенном по твоему проекту, к примеру, три лифта!

— Ну и что? — Отар был в недоумении.

— И ни один из них не работает!

— При чем тут я?

— Не проектируйте дома с лифтами! Стройте одноэтажные, максимум двухэтажные дома, и тогда никому не понадобятся ваши лифты! — Буркадзе снова взял в руки макет из целлулоида.

— Он сведет меня с ума, — Отар развел руками.

— Товарищи, — доцент кафедры взглянул на часы, — дадим ему высказаться, спорить будем потом.

— Тут и спорить не о чем, все ясно, — Отар сел и, закинув ногу на ногу, вполголоса добавил: — Он ни черта не смыслит в архитектуре.

— Мы с вами согласны, что одноэтажные дома более пригодны для жилья, чем многоэтажные, но что дальше? — нервно спросил заведующий отделом.

— Я возражаю, — воскликнул Отар, — значит, весь мир состоит из дураков, строящих многоэтажные дома?!

— Так мы никогда не кончим! — в голосе заведующего звучал упрек.

Это был не первый совет, перед которым выступал Буркадзе. Его проект подвергался критике неоднократно, но каждый раз, приняв в расчет указанные ошибки, он поднимал шум: моим замыслом не интересуются, на мои идеи не обращают внимания... И вот уже новому совету поручалось обсудить буркадзевский проект. Буркадзе всегда учитывал опыт предыдущих заседаний. К примеру, в свое время ему было сказано, что каждое промышленное здание имеет свою санитарную зону. Он не поленился, изучил технологические схемы нескольких заводов и собирался сейчас обсудить именно этот вопрос, раз уж разговор о лифтах не получился: тут уж наверняка он возьмет верх над уважаемыми архитекторами! Дмитрий волновался, руки у него слегка дрожали, голос стал ломким, тем не менее он спокойно подошел к чертежам, оглядел аудиторию и, собрав волю в кулак, продолжил:

— Весь город должен быть разбит на жилые участки, вокруг которых расположатся промышленные здания — трикотажная фабрика, железобетонный завод, машиностроительный завод и другие. Промышленные здания будут опоясываться балконами, чтобы рабочие могли при случае выйти и глотнуть свежий воздух. Промышленные здания будут многоэтажные, — Буркадзе устремил на заведующего блестящий взгляд и примирительно добавил: — Вот где многоэтажность оправдана — одноэтажные промышленные предприятия заняли бы много места... У меня тут технологические схемы машиностроительного и железобетонного заводов, — Дмитрий потянулся за портфелем.

— Мы верим, верим вам на слово, технологические схемы необязательны, — остановил его заведующий.

Буркадзе застыл в недоумении, устремив на него испытующий взгляд: неужели и впрямь неинтересно?

— Черт знает что! — Григорий Ермолаевич развел руками и вполголоса добавил: — Один человек берет на себя решение проблем, которыми занимаются целые институты...

— Говори о планировке города, — процедил сквозь зубы Отар и отвел глаза от изумленного лица Димитрия. «Что ему надо от меня?» — подумал Димитрий, услышав его реплику, и повернулся к своим чертежам.

— Как я уже сказал, промышленные застройки окружают жилые районы, которые разобьются на небольшие, в 500—600 квадратных метров, участки. На этих участках будут построены дома со стеклянными стенами, вот такие, — он указал на макет из целлулоида, лежащий на столе.

— Почему все же со стеклянными? — спросил кто-то.

— Объясню, — Буркадзе ждал этого вопроса и с удовольствием стал пояснять свою мысль: — Вы как будто находитесь в комнате и в то же время — вне ее. Создается впечатление, что вы на природе, со всех четырех сторон — окружающий мир как на ладони.

— Но ведь давно установлено, что стеклянные стены с психологической точки зрения для жилых домов нежелательны! — заметил Николай Иванович.

— Напротив, очень желательны! — с уверенностью произнес Буркадзе. — Сидишь в комнате, а ощущение, что ты не в комнате, а под деревом, а еще лучше возвести стены так, чтобы ствол дерева проходил через комнату. Необходимы только защитные заслоны, такие, как на лестницах, только с обратным уклоном, чтобы пресмыкающиеся не проникли по стволу дерева в комнату.

— Тоже мне проблема — пресмыкающиеся! — крикнул Отар. — В некоторых странах змей даже в квартирах держат.

— В квартирах? Это уж слишком! — Буркадзе сверкнул глазами. — А как же дети?

— Ладно, ладно, отложим этот вопрос, — заведующий взглянул на часы, быстро поднялся, подошел к чертежам и, держа по обыкновению одну руку в кармане, указательным пальцем другой уперся в чертеж: — Вы сказали, что вокруг жилого района разместятся промышленные строения, а известно ли вам, что, согласно санитарно-гигиеническим нормам, промышленные строения должны отстоять хотя бы на километр от жилых домов, а железобетонный завод еще

дальше, а у вас получается... — и заведующий вооружился линейкой.

— Технологические процессы на заводах должны протекать так, чтобы не было выбросов в атмосферу, — не спасовал Буркадзе.

— Таких заводов еще нет в природе, — заведующий улыбнулся.

— Нет, так будут! — воскликнул Буркадзе.

— Когда? В будущем? — заведующий повернулся к аудиторни. — Товарищи, мы, наконец, должны решить, что мы обсуждаем — город будущего или проблемы современности!

— Проблемы современности! — вырвалось у Буркадзе.

— В таком случае я заявляю—подобных заводов в природе нет!

— Я же сказал, я разработал новую технологию! — Буркадзе ринулся к портфелю и лихорадочно начал что-то искать в нем.

Заведующий отделом положил ему на плечо руку и дружески проговорил:

— Мы здесь для того, чтобы обсуждать вопросы зодчества, о технологии будете говорить в другом месте.

— Давайте закончим, мне кажется, все ясно! — поднялся Отар.

— У вас есть еще что сказать? — спросил заведующий у Дмитрия.

Дмитрий растерянно смотрел на него.

— Конечно, — с трудом выдавил он. — Мы еще не дошли до жилых помещений.

— Черт знает что! — буркнул Григорий Ермолаевич. — Сколько можно это слушать!

— Потерпите, пусть выскажется, — заведующий сел. — Сядь, Отар, еще немного...

— Почему вы выносите на заседание совета такие непродуманные вопросы? — спросил Отар, обращаясь почему-то к секретарю парторганизации.

— Отар, Отар! — заведующий перегнулся через стол и зашептал: — Парторганизация тут ни при чем, он забросал жалобами все инстанции, и нам поручили

положить конец этому делу, мы должны дать авторитетный отзыв.

— Понятно, — Отар закинул ногу на ногу, — я сам дам ему отзыв, мы учились с ним в одной школе, я ему выложу все без стеснения, — и, повернувшись к Буркадзе, махнул ему рукой: — Продолжай!

Димитрий взглянул на свои чертежи, глубоко вздохнул и без прежней уверенности начал:

— Я уже говорил, что жилой район будет поделен на небольшие участки, а на них построены одноэтажные или двухэтажные дома со стеклянными стенами. Дворы утопают в зелени, в каждом — виноградная беседка.

— Откуда у нас столько земли, чтобы раздать всем под дворы? — не выдержал заведующий. — В Тбилиси уже миллион жителей.

— А почему миллион? — возмутился Димитрий. — Если бы в селах были те же условия, что и в городах, никто не срывался бы с места!

— Вот вы говорите: дворы, одноэтажные дома, их в деревне предостаточно, — Николай Иванович сощурил глаза, — и тем не менее большинство бежит в город, предпочитает жить в многоэтажных домах.

— Я объясню, почему бегут в город.

— Не надо! — выкрикнул Отар и, словно спохватившись, понизил голос: — Ты о своих садах Семирамиды говори.

— Во дворах будут расти фруктовые деревья всех сортов: яблоня, груша, персик, черешня, так, чтобы фрукты были постоянно: ранней весной — клубника, потом — черешня и другие, а поздней осенью — хурма. — Никто не прерывал Димитрия, и он, приободрившись, уверенно продолжал: — На крышах, как я уже говорил, разводим огороды, сею различную зелень: киндзу, сельдерей, укроп, тархун, перец, на зиму огороды покрываются целлофановой пленкой, таким образом в течение года — у всех свои молодые огурчики, свежая зелень и незачем бегать за этим на рынок. Известно, что природа без животного мира непредставима, в каждой семье, разумеется, живут кошка с собакой, а кроме них имеются еще и куры, индейки, может быть и утки, хотя нет, утки могут уничтожить всех наших рыб в бассейне...

— Как, у нас и бассейны будут?! — спросил Николай Иванович.

— Обязательно! — сдвинул брови Димитрий. С рыбами, тритонами и другими водными обитателями.

— Не забудь крокодилов, — насмешливо бросил Отар.

— Нет, без крокодилов, — повысил голос Буркадзе, — и без лягушек, они известные горлодеры, правда, я разработал устройство, прерывающее кваканье, но... пусть лучше будут жабы, они ведь своего рода лекари огородов, само собой, разведутся змеи, а мы не будем мешать этому...

— В дом они не проникнут, — напомнил Вахтанг Николаевич, — лестницы будут снабжены специальными приспособлениями.

— Совершенно верно, — подтвердил Буркадзе, — лестницы будут со специальными приспособлениями. Мы можем купить свинью, прокормить ее не составит труда — в каждой семье набирается достаточно объедков, а в конце осени зарезать, обеспечить себя на зиму мясом и салом... На сале можно жарить картошку...

— Картофель тоже разводим во дворе? — Мераб с трудом сдерживал улыбку.

— Нет, картофель, кукурузу, пшеницу и все такое будем покупать. Хорошо бы, особенно многодетным семьям, завести дойную козу. Козье молоко, как все мы знаем, очень питательно и полезно! — лицо Буркадзе сияло, он мечтательно продолжал: — Утром выходишь в зеленеющий сад, доишь козу и угощаешь пенистым молоком своих детей...

— Черт знает что! — Григорий Ермолаевич погладил себя по лысой голове.

— Это невыносимо, — скрипнул зубами Отар, прикладывая руку ко лбу.

— А как насчет коров? — снова спросил Мераб.

— Неплохая мысль, но корова требует большого ухода...

— Мне кажется, — поднялся заведующий, — вы несколько свернули в сторону, давайте по существу, об архитектуре!

— Архитектура должна удовлетворять потребности

человека! — крикнул Буркадзе. — А вы изуродовали, погубили город!

— Кто, мы? — изумился заведующий отделом.

— Вы, в ваших руках сегодня судьба архитектуры: крошечные комнатухи, низкие потолки, многоэтажность!

— Существуют государственные нормы, от которых никуда не денешься, — принялся объяснять Мераб, красноречиво поглядывая на заведующего: поддержите, мол, меня, — этими нормами мы и руководствуемся при составлении проектов.

— Нормы! — презрительно усмехнулся Буркадзе. — Нормы тоже ваша выдумка!

— Довольно, это нельзя больше терпеть! — Отар сжал зубы так, что на скулах заиграли желваки.

— Товарищи, — тихо начал заведующий, — мы выслушали нашего докладчика, теперь пусть он послушает нас.

— Я требую официального протокола этого заседания, — отозвался Буркадзе.

— Вы получите выписку, — заведующий по обыкновению сунул руку в карман. — Слово предоставляется рецензенту, доценту Вахтангу Николаевичу Чанкветадзе; — заведующий сел, пытаясь определить по выражению лица Буркадзе, доволен тот или нет.

Вахтанг Николаевич поднялся, улыбаясь, обвел взглядом присутствующих.

— Товарищи, — сказал он, беря в руки бумагу, — рецензия у меня написана, но, по-моему, нет нужды ее зачитывать, так ведь, уважаемый Дмитрий? — он усмехнулся и бросил на Дмитрия долгий взгляд.


— Совершенно верно, никакой нужды в этом нет! — воскликнул Отар.

Буркадзе молчал.

— Я зачитаю основные выводы, — Вахтанг Николаевич заглянул в свои бумаги. — Представленный на обсуждение материал состоит из графической части: четыре чертежа, два архитектурных и два технологических, назовем так условно, ха-ха-ха, далее проект в сто страниц...

— Сто страниц? — вырвалось у Отара.

— Именно сто, — подтвердил Вахтанг Николаевич и, понизив голос, добавил: — Что и говорить, не по-



щадил меня! К этому следует добавить, — уже громче продолжал он, — макеты из целлулоида. Я действительно ознакомился с материалом, дважды прочитал его — сто страниц! — и, как говорится, ничего не понял, ха-ха-ха! — Вахтанг Николаевич посмотрел на Буркадзе. — По-видимому, либо я не готов должным образом к восприятию данного труда, либо же, — он перевел взгляд на аудиторию, — наш уважаемый Дмитрий не готов должным образом к обсуждению подобных проблем, не так ли, уважаемый Дмитрий?

— Прошу вас продолжать, — спокойно отозвался Дмитрий.

— Наш вывод таков: в труде поставлены весьма важные в социологическом отношении проблемы, которые должны быть разрешены комплексно, не только вместе с социологами, но и с психологами, философами, строителями, биологами... ну и, конечно, архитекторами, иначе ничего не выйдет. Для решения этих проблем необходимо, на мой взгляд, создать институт, куда не мешало бы, как вы понимаете, пригласить и товарища Буркадзе. Что же касается вопросов экологии, они прекрасно освещены, как вы знаете, в трудах Леруа, Иванченко и других.

— Безусловно, — поиграл пальцами Отар, — человечество в свое время подумало об этом, интересен также труд Шимановича.

— Кто еще хочет высказаться? — спросил заведующий. — Вы ничего не хотите сказать? — обратился он к Николаю Ивановичу.

— Видели ли вы Париж или Токио? — Николай Иванович устремил на Буркадзе взгляд из-под полуприкрытых век. Тот стоял как немой. — По-вашему, надо разрушить такие города?

— У нас был разговор по этому вопросу, — медленно поднялся рецензент, — он предлагает начать постепенно разрушать город и застраивать его одно- или двухэтажными домами.

Раздался смех. Заведующий отделом с улыбкой на лице обратился к молодым, остановив взгляд на Мерабе:

— Что скажет молодежь?

— Что я могу сказать? — отозвался Мераб и сделал паузу. — Как видно, мы недостаточно думаем над проблемными вопросами, непосредственно нас касающимися, и недостаточно хорошо их решаем, если человека постороннего, — он протянул руку в сторону Буркадзе, — совершенно иной профессии, рождается желание поразмыслить над ними, — Мераб помолчал, плотно сжал губы и наконец добавил: — Мне лично по душе этот человек. Вот все, что я хотел сказать.

— Но в адрес его проекта ничего похвального не скажешь, — подал голос Отар и, обращаясь к Дмитрию, добавил: — Ты понятия не имеешь, что такое архитектура, все, о чем ты здесь толковал, всем давно известно...

— Почему же не проводите в жизнь? — Буркадзе смотрел на него, как за гипнотизированный.

— Что? То, что себя не оправдало и от чего давно отказались? — Отар с минуту молчал, потом махнул рукой. — Давайте закончим, хватит, собирай свое добро и не беспокой больше людей, это тебе мой дружеский совет.

Буркадзе молча снял со стены чертежи, поспешно сложил, почти смял их и сунул в портфель, затем спрятал макеты и, взяв портфель под мышку, направился к выходу. У двери остановился, окинул взглядом притихшую аудиторию, хотел что-то сказать, но, передумав, выскочил в коридор. И только тогда вспомнил, что надо спешить на работу, больше так продолжаться не может, и на работе ведь надо что-то делать.

Дмитрий вышел на улицу. Бездумно посмотрел на свой портфель, потом на здание института и вздохнул с облегчением. Был полдень. Солнце, отражаясь в окнах многоэтажных домов, казалось, улыбалось Дмитрию. У него зарябило в глазах от потока машин и игры света и тени. Действительно, что представлял бы собой Тбилиси без своих многоэтажных зданий, без волнующего ритма века!

Портфель оттягивал руку — «Сколько времени я потерял впустую! Все же что двигало мной, какое мне до всего этого дело!».

Впереди остановился троллейбус. Он уже трогался, когда Дмитрий вдруг сорвался с места, на ходу

вскочил в него и, тяжело опустившись в первое же свободное кресло, устался в одну точку. Какое-то время он смотрел перед собой невидящим взглядом, но постепенно стали вырисовываться контуры проходящих мимо зданий, все вокруг обрело свою форму и цвет, и Димитрий улыбнулся. Он припал к стеклу и с улыбкой на лице жадно всматривался в возвышающиеся вдоль улицы дома, словно видел их впервые. Пухлый черный портфель камнем лежал на коленях, и Димитрию было противно даже смотреть на него. Он любил свою мечту, но сейчас хотелось все забыть, и время от времени он встряхивал головой, пытаясь отогнать назойливые мысли.

«Собирай свое добро и не беспокой больше людей, это тебе мой дружеский совет!» — слова Отара звучали в ушах, и Димитрий вдруг почувствовал их правоту. «Свои дела забросил и других заставил зря потратить время», — мелькнуло в голове. В памяти всплыли имена Леруа и Шимановича. «Неужели и они думали об этом? Хорошо бы почитать их книги. Эх! — он махнул рукой и оглянулся по сторонам — не привлекли внимание окружающих своим произвольным жестом. — На все нужно время, а у меня даже не было возможности сделать хорошие чертежи». Перед глазами встали чертежи, висевшие на стенах институтского коридора. «Эх!» — он снова махнул рукой и устался в окно. Мысли всей тяжестью навалились на него. Он опять перестал воспринимать окружающий мир, контуры домов слились в пространстве и под конец исчезли.

Буркадзе никогда не опаздывал на работу. Ровно в девять всегда бывал на своем месте; но спустя некоторое время, заявив, что уходит по делам, хватал свой неизменный портфель и убегал. Вот и сегодня он поступил точно так же и теперь, чувствуя себя вконец опустошенным, возвращался на работу с тяжелым чувством.

Он взбежал по лестнице, глядя себе под ноги, и уже заворачивал в коридор, как неожиданно столкнулся с Нино, известной на все учреждение сплетницей.

— Где ты пропадаешь, Димитрий? — воскликнула Нино. — Главный вне себя от бешенства.

— Ты не сказала, что я был? — с показным спокойствием спросил Буркадзе.

— Я-то сказала, но... — Нино не сводила глаз с портфеля. — Ну как?

Обычно в ответ на этот вопрос Димитрий принимался ругать всех и вся: не идут навстречу, ставят палки в колеса, притесняют, боятся уронить свой престиж, бюрократы и так далее и тому подобное, а под конец оптимистически заявлял: но правда восторжествует, я своего добьюсь! Теперь же, ничего не ответив Нино, он поспешил в свою комнату.


Дверь кабинета начальника почти всегда оставалась открытой, и Буркадзе с тревогой подумал, что начальник, конечно же, увидит его, когда он будет проходить мимо; в другое время он вошел бы к нему с попреками и проклятьями в адрес вышестоящих товарищей, как он это делал обычно: никто и пальцем шевельнуть не хочет, как огня боятся нового слова... В таких случаях начальник остерегался совестить Димитрия, чтобы потом о нем не отзывались таким же образом; он внимательно выслушивал его, даже поддакивал иногда и только под конец, как бы невзначай, говорил: проследи за таким-то делом. Сегодня Димитрию не хотелось встречаться с начальником. К счастью, дверь в его кабинет оказалась закрытой, но как только он вошел в свою комнату, сидящая против него Вера сказала:

— Главный велел, чтоб вы зашли к нему как только вернетесь.

Буркадзе, не издав ни звука, положил портфель на стол, какое-то время бездумно смотрел на груды папок, занимавших полстола, потом перевел взгляд на Веру и вышел из комнаты.

В кабинете начальника сидели инспектора. Начальник взволнованно выговаривал им, размахивая руками: больше терпеть это нельзя, пусть каждый занимается своим делом, он не допустит, чтобы его ругали из-за них... Увидев Димитрия, он прикрыл уши руками и в гневе закричал:

— Не желаю ничего слушать, делом, делом надо заниматься!



Димитрий в полном унынии молча смотрел на разошедшегося начальника. А тот вдруг замолчал, и в наступившей тишине все уставились на Димитрия в ожидании новостей. Но Буркадзе продолжал уныло смотреть на начальника, и тот понял, что дела Димитрия плохи. Воспрянув духом, он снова повысил голос: где ты ходишь целыми днями, я объявляю тебе выговор, вообще выгону, удержу из зарплаты за прогулы, делом, делом займитесь, не то... не то... Начальник надрывался и размахивал руками.

Димитрий словно онемел, он не мог вымолвить ни слова. Начальник в конце концов успокоился, вынул из ящика стола какую-то бумагу и протянул ее Буркадзе.

— В восьмом корпусе Ниорадзе с пятого этажа, ну, помнишь эту его историю с забором, завел свинью, соседи жалуются: вонища такая — дышать нечем. Сейчас же отправляйся туда и уладь это дело, оштрафуй его, — начальник встал и, повысив голос, продолжал: — Делай с ним что хочешь, только побыстрее утряси этот вопрос!

Димитрий молча взял бумагу и вышел из кабинета. В ящике своего стола он отыскал дело Ниорадзе, перелистал его, подшил поступившее письмо, аккуратно завязал тесемки папки, сунул ее в портфель и, преисполненный решимости, отправился на объект. Его одолевали непривычные мысли. Если раньше он был уверен в торжестве своих идей, в том, что его будут носить на руках, то теперь, обманувшись в своих надеждах, со страхом думал, что может потерять работу и его семья останется без средств к существованию.

Дом, в котором жил Ниорадзе, находился в зоне, подведомственной Димитрию. Как инспектор он должен был следить, чтобы никто из жильцов не огораживал общие дворы, не ставил надворных построек, не обзаводился домашними животными или птицами, не разводил антисанитарию. Но Димитрий был снисходительным к жильцам, в глубине души он сочувствовал им, и они делали что хотели: огораживали дворы, строили гаражи, разводили кур, а теперь вот Ниорадзе и свиньей обзавелся.

Уже издали Димитрий увидел Ниорадзе. Одетый в синий спортивный костюм, он хлопотал в маленьком садике, огороженном перед восьмым корпусом. «Я покажу тебе кузькину мать», — подумал Димитрий и, решительно подойдя к забору из металлической сетки, начал трясти его.

— Ты еще не убрал эту загородку?

Ниорадзе вздрогнул от неожиданности — увлеченный своим делом, он не заметил приближения инспектора — и в изумлении уставился на него.

Буркадзе, чертыхаясь, изо всех сил раскачивал металлическую сетку, не выпуская из рук пузатого портфеля. «Еще соседей соберет!» — испугавшись этой мысли, Ниорадзе быстрым шагом направился к Димитрию, осторожно обходя грядки с зеленью.

— Что случилось, батано Димитрий? — спросил он, подходя к калитке.

— Куда ты девал свою свинью? Разве можно держать свинью в городе?! — кричал инспектор.

— О какой свинье речь, батано Димитрий? — Ниорадзе сделал большие глаза и украдкой окинул взглядом балконы восьмого корпуса.

— А вот о какой! — Димитрий раскрыл портфель и вынул оттуда папку.

— А-а, — протянул Ниорадзе, понимая, что отступить некуда, — так ее всего на два дня родственник оставлял...

— Где она сейчас? — инспектор впери́л в него испытующий взгляд.

— Нет ее, увезли, не верите, что ли?!

— А загородка все стоит? — Буркадзе снова схватился за металлическую сетку.

— Загородки у всех стоят, — хихикнул Ниорадзе, — а уберут все, так и я за ними, ничего не поделаешь.

Буркадзе огляделся кругом. Сад вокруг многоэтажных жилых домов был разбит на небольшие участки и поделен между соседями. Кто разводил цветы, кто выращивал виноград.

Какое-то время Димитрий внимательно разглядывал эти палисаднички и виноградные беседки, словно видел их впервые, потом повернулся к Ниорадзе и без прежней уверенности в голосе сказал:

— Я заставлю всех снять эти заборчики!

— Дай-то бог, — снова хихикнул Ниорадзе, детвора обрадуется!

Тут глазам Буркадзе предстало нечто необыкновенное: из густой листвы, покрывавшей беседку, чуть не до самой земли свисал огурец.

— Что это? — спросил он, потрясенный, и, войдя в палисадник, приблизился к чуду.

— Это? — Ниорадзе улыбнулся. — Индийский огурец, родственник привез семена, замечательно привился.

— Съедобный? — Буркадзе потрогал огурец.

— Конечно! — лицо у Ниорадзе сияло. — Но не в сыром виде, надо отварить его, приправить орехами и уксусом или же замариновать.

— Вкусный?

— А ты попробуй — у меня есть готовый маринад, — Ниорадзе взмахнул рукой, — такой вкусный — пальчики оближешь.

Димитрий проглотил слюну, но от приглашения отказался: «Нет, нет, я спешу», однако Ниорадзе крепко схватил его за локоть, и он не стал упираться. Они были уже у калитки, когда Ниорадзе вернулся, сорвал с грядки кресс-салат, красную редиску, спелые помидоры, все это рассовал по карманам и поспешил вдогонку за гостем. Тот ждал его у выхода. Ниорадзе повесил на калитку увесистый замок и с довольным видом пошел впереди Димитрия. Они вошли в подъезд, и хозяин стал спускаться вниз по лестнице, ведущей в подвал. Буркадзе последовал за ним. Вскоре Ниорадзе снова зазвенел ключами, открыл дверь и вошел в темный подвал. Буркадзе — за ним. В нос ударил острый запах маринада и аромат вина. Внезапно яркий свет залил подвал. Буркадзе не смог сдержать возгласа восторга — подвал был заставлен полными до краев бутылками с вином, кувшинами, горшками, деревянными бочками, на полках выстроились банки с компотами.

— Прошу садиться, — хозяин указал на скамейку возле низкого столика, — сейчас все будет готово!

Буркадзе сел, поставил рядом с собой портфель и с завистью огляделся: «Когда только он успел все устроить?». Рачительный хозяин позаботился даже об

убранстве подвала: на стенах висели медные чеканки с изображением различных предметов, женских головок и мужских профилей, а самая большая чеканка воспроизводила сцену охоты на коосулю.

Ниорадзе хлопотал у крана, и вскоре на столе появились вымытые кресс-салат, помидоры, редиска. Откуда-то возникли хлеб и сыр, потом появилось вино в кувшине, но подлинным украшением стола был, конечно, индийский огурец.

— Ничего, что так по-домашнему? — как бы извиняясь, спросил Ниорадзе, садясь к столу. — Я бы пригласил тебя наверх, но...

— Нет, нет, здесь гораздо лучше, — Буркадзе положил на тарелку индийский огурец.

— Ешь, ешь, видишь, какой вкусный, — Ниорадзе разлил вино в стаканы. — Будем здоровы, — сказал он, поднимая свой стакан, — за наше взаимопонимание!

— Будем здоровы! — поддержал его Буркадзе.

Они посидели, поговорили, нашли общих знакомых, с похвалой отозвались друг о друге. Под конец, захмелев, Дмитрий открыл хозяину свою печаль:

— Почему у тебя не должно быть свиньи?

— Что? — Ниорадзе вытаращил глаза.

— Почему ты не можешь иметь одноэтажный дом с большим двором и свиньей в придачу? — Буркадзе время от времени взмахивал рукой, в которой держал стакан с вином, и Ниорадзе с опаской следил за каждым его жестом — как бы он не разлил вино на его спортивную пижаму. Дмитрий еще раз взмахнул рукой и добавил: — Или хотя бы козой?!

— Да, было бы неплохо, — согласился хозяин, — но нельзя — город!

— Подумаешь, город! — Буркадзе повысил голос. — Почему в городе человек теряет право на контакт с природой, почему? В чем провинился горожанин? Вот, пожалуйста, — Буркадзе поставил стакан на стол и взял портфель.

Ниорадзе, подняв брови, смотрел на него: «Неужели опять за моим делом полез, видимо, одним угощением не обойтись».

Тем временем Буркадзе открыл портфель, вынул

оттуда макет из целлулоида, осмотрел его со всех сторон и протянул хозяину.

— Что это? — Ниорадзе не смог скрыть своего изумления.

— Это дом, — резко ответил Буркадзе, — вот такой жилой дом с собственным двором, на крыше разводи помидоры, а во дворе что угодно...

— Такой вот застекленный? — с сомнением проговорил хозяин. — Как это можно? Мы вот с вами сидим вдвоем и хорошо сидим, а если бы нас видели снаружи, на что же это было бы похоже?

Димитрию не понравилось замечание Ниорадзе. Он холодно отобрал у него макет, спрятал в портфель и поднялся.

— Еще по одному стакану, — Ниорадзе растерялся, он не понял, на что обиделся гость, — еще по одному!

— Не стоит больше пить, — Димитрий махнул рукой, но стакан взял.

— Садитесь, садитесь, — начал уговаривать его хозяин, — выпьем за наших предков, жизнь у них была прекрасно налажена, всё они знали, что да как...

— За наших предков, за настоящих людей, — Буркадзе осушил стакан, сел и закусил индийским огурцом.

Ниорадзе с облегчением вздохнул, они выпили еще по стакану, и вновь завязалась дружеская беседа.

— Вот ты о свинье говоришь, — напомнил Ниорадзе, — вроде и ее можно во дворе держать, хорошо бы, а!

— Эх, кто это понимает! — Буркадзе, вздохнув, поднялся с места. — Ну, я пошел!

— Я это понимаю! — поднялся вслед за ним и хозяин. — Из-за той свиньи, что я купил, соседи целый тарарам подняли, даже наклеузничали, они же не понимают, в чем дело!

— В чем же? — Буркадзе разинул рот.

— А в том, что до декабря я буду ее откармливать, к рождеству зарезу и всю зиму всей семьей буду сидеть у нее на шее! — Ниорадзе захохотал, подозрительно сунул руку в карман и добавил: — Вот так!

— Где же ты держишь свинью? — Буркадзе улыбнулся и погрозил пальцем.

— Это уж наша забота! — ответил хозяин. Он подошел к Димитрию и что-то положил ему в карман. — Ты — молчок, и я — молчок!

— Что? — изумился Димитрий и вытащил из кармана десятирублевку. — Что это, что ты себе позволяешь?

— Больше у меня сейчас нет! — Ниорадзе с грустным видом уставился на Димитрия.

— Как не стыдно! — Димитрий бросил деньги на стол, схватил свой портфель и быстрым шагом направился к двери.

Спускались сумерки. Было прохладно. Димитрия слегка развезло от вина, и он был бы в превосходном настроении, не оскорби его Ниорадзе. «Как он посмел, как он посмел, — то и дело повторял про себя Димитрий, — за взяточника меня принял!»

Он поднялся в троллейбус и до самой своей остановки сидел, не поднимая головы. Выходя из троллейбуса, понял, что вино здорово вскружило ему голову, даже ноги чуть заплетались.

Лифт не работал. Димитрий довольно долго и безуспешно нажимал на кнопку, наконец, потеряв терпение, подошел к лестнице. «Надо идти пешком», — с тоской подумал он и тяжело стал подниматься вверх. На каждом этаже он останавливался и упрямо вызывал лифт, но кабина была мертва. «Вот, пожалуйста, вот они, ваши лифты, цивилизация, техника, небоскребы, вдохновение!» С грехом пополам преодолел он десять этажей и, остановившись у дверей собственной квартиры, перевел дух. В голове немного прояснилось, он провел рукой по волосам и позвонил в дверь.

Открыла жена. Димитрий виновато улыбнулся ей. В прихожую выбежала болонка и, проскочив между жениными ногами, весело помахивая хвостиком, обегала вокруг Димитрия. Он нагнулся, чтобы погладить ее, стараясь не встречаться взглядом с женой и детьми, которые тоже вышли в прихожую и стояли возле матери, хмуро поглядывая на отца.

— Папа, Цуна умерла, — чуть не плача воскликнул наконец мальчик.

— Я же тебе говорил, сынок, не жилец она, твоя

Цуна, не горюй, куплю другую, — Димитрий прошел в комнату. Следом за ним — сын, а за сыном жена и дочь. Впереди шествовала болонка.

— Мы похоронили Цуну во дворе, — всхлипывая, продолжал мальчик, — а Цруцуна такая грустная...

— Все уладится, — Димитрий погладил его по головке и, взглянув на дочь, спросил: — Рыбок кормили?

— Кормили, — грустно ответила девочка, как видно, ее тоже огорчила смерть Цуны.

— Целый день плачут, — нахмурила брови жена. — Где ты пропадал?

Димитрий бросил портфель на стол и нагнулся над стоящей тут же коробкой с морской свинкой. Дети присели на корточки рядом с ним.

— Ну, как дела? — снова спросила жена.

— Да никак, — Димитрий поднял голову и снова опустил.

— Что-нибудь случилось? — жена была в недоумении. — Где ты выпил?

— Папочка, Цруцуна ведь не умрет? — мальчик с надеждой смотрел на отца.

— Нет, не умрет, — Димитрий взял в руки Цруцуну и внимательно стал разглядывать.

— Ну, довольно, уберите отсюда этих мышей или как их там, морских свинок!

Жена всегда поддерживала Димитрия, она, правда, не до конца признавала значительность его стараний, но чувствовала: если проект победит, муж достигнет славы и известности. Она слушала его тирады, во многом соглашаясь с ним, она вдохновляла его, поправляла, вносила свои предложения. Димитрий работал над проектом, не поднимая головы, забросил все домашние дела, но жена стоически выносила это; только изредка, когда чаша терпения переполнялась, робко упрекала его. «Ни черта ты не смыслишь! — резко обрывал ее Димитрий чаще всего тогда, когда у него что-то не ладилось. — Ничего тебя не интересует, даже поддержать не можешь!» Жена обижалась, у нее пропадало желание корить его.

Неделю назад Димитрий принес домой двух морских свинок. Радости детей не было границ. Они на-

звали их Цуна и Цруцуна. Жена тогда смолчала, «наверное, так нужно», но сейчас хмельное состояние мужа вывело ее из себя. Как-то само собой получилось, что она начала осыпать его упреками: «У этих свинок лезет шерстка, и дети могут подхватить какую-нибудь страшную болезнь. Раньше ты брал дополнительную работу и зарабатывал лишние гроши, но из-за этого проклятого проекта все забросил!» Жена даже прослезилась, и сердце у Дмитрия больно сжалось.

— У меня ни копейки денег, — продолжала между тем жена, — и обеда на завтра нет, взял бы займы где-нибудь хотя бы десять рублей.

Жена никогда не жаловалась на безденежье и если все же заводила разговор о деньгах, Дмитрий тут же затыкал ей рот: потерпи немного, сдам вот проект, все у нас наладится. Он возлагал большие надежды на свой проект. Сейчас слова жены больно задели Дмитрия. «Десять рублей!» — он бросил на нее быстрый взгляд и опустил глаза.

— Детям одеть нечего, — говорила жена, — ходят голые, босые, — ей было странно — Дмитрий хранил упорное молчание, и она ждала, что он вот-вот взорвется.

— Десять рублей?! — вымолвил наконец Дмитрий. — Нет ничего проще! Если забыть про совесть, можно занять не только десять рублей, а гораздо больше. Я думал о другом, но если тебе ничего, кроме денег, не нужно, пожалуйста, нет ничего проще!

Жена в изумлении смотрела на мужа, таким кротким она его не знала. Дмитрий открыл портфель, вынул оттуда макет из целлулоида, а вместе с ним случайно и дело Ниорадзе. — Десять рублей, — протянул он и уставился на папку так, словно в ней лежали они, эти заветные деньги. Затем быстро спрятал папку обратно, схватил макет, вышел в кухню, подошел к мусорному ведру, открыл его и хотел было выбросить, но передумал; повертел макет в руке и направился в спальню.

Дети уже легли.

— Это тебе, сынок, — сказал Дмитрий мальчику, — дарю!

Мальчик, вскрикнув от радости, вскочил с постели, схватил макет, прижал к груди. Девочка удивленно



смотрела на отца. Когда он делал этот макет, они крутились возле него, всячески пытаюсь помочь, а он не давал им дотронуться до своего детища.

— Немедленно верни, а то сломаешь! — крикнула девочка и бросилась к брату.

Жена молчала. У нее оборвалось сердце. Ее муж без всякого сожаления расстался с вещью, над которой трудился два с лишним года, и она поняла, что дела действительно плохи. Раньше после очередного обсуждения проекта он яростно ругал всех и вся, но надежды не терял, теперь же мерил комнату неслышными шагами и бессмысленно твердил одно и то же: «Если ничего больше не хотите, нет ничего проще». Наконец он подошел к портфелю, вытащил оттуда чертежи, как будто хотел разорвать их, но воздержался, какое-то время стоял в раздумье, потом аккуратно сложил и спрятал в книжный шкаф.

Не смея ничего сказать мужу, жена сорвала сердце на детях.

— Спать! — крикнула она и отняла у мальчика макет.

Мальчик заплакал.

— Немедленно верни ему! — Дмитрий впал в ярость, вырвал из рук жены макет.

— Боже, — прижавшись к стене, жена пропустила Дмитрия, выскочившего вон из спальни, — он, кажется, сошел с ума!

Дмитрий постелил себе в гостиной на диване. Разбросав как попало одежду, он лег и уставился в потолок. Хмель испарился, но сердце билось учащенно. Он лежал, ни о чем не думая, потом, глубоко вздохнув, повернулся к стене.

Почувствовав, что задыхается, Дмитрий поднялся на плоскую кровлю и, расстегнув ворот, обнажил грудь. Здесь царила приятная прохлада. Помидоры созрели и горели красным огнем. Дмитрий собрал их и бережно сложил в маленькую корзину. Осторожно шагая между грядками, он сорвал кресс-салат и другую зелень, при этом то и дело поглядывал вниз, в сад, где под сенью провисших под тяжестью плодов веток на ярко-зеленой траве кувыркались дети. За ни-

ми присматривала овчарка. Тут же неподалеку коза с полным выменем щипала траву. Дмитрий внимательно оглядел двор, но жены нигде не приметил. «Куда она делась?» — он потрогал индийский огурец. Семена этого растения подарил ему сосед Ниорадзе. Оно привилось превосходно; зацепившись вверху за заросли вьющихся растений, плоды протянулись вниз во всю длину дома и достигали земли. Вдруг, хлопая крыльями, во двор опустились фазаны и, смешавшись с курами и индейками, стали клевать кукурузу. Дмитрий хотел было взмахнуть рукой, чтобы отогнать их, но индейки сумели постоять за себя и обратили фазанов в бегство. Дмитрий улыбнулся и, взяв корзину, спустился по лестнице. За стеклянной стеной открывался зал с пальмами, мандариновыми и лимонными деревьями. Задержавшись на минутку, он заглянул во все уголки зала, но жены так и не нашел. Неожиданно что-то скользнуло между его ногами. Это была змея, которая тщетно пыталась вползти на лестницу. Лестницы были с заслонами, так что ни одно пресмыкающееся не могло проникнуть наверх. Дмитрий улыбнулся, проследил взглядом за змеей, красиво извивающейся по изумрудной траве, но заметив, что она ползет туда, где играли дети, содрогнулся от ужаса. Хотел крикнуть, предупредить их, даже открыл рот, но не смог издать ни единого звука, и рукой не смог шевельнуть, так и остался стоять с разинутым ртом. Змея между тем подползла к детям, но мальчик вынул из кармана свирель и заиграл на ней. Услышав сладкие звуки свирели, змея выпрямилась во всю свою длину и задвигалась на месте, как бы танцуя; собака начала лаять, коза — прыгать, а индейки деловито загалдели. И тут Дмитрий вспомнил, что змея домашняя и никакого вреда детям причинить не может, он успокоился, даже улыбнулся и снова принялся искать жену. Из-за забора донеслось поросячье хрюканье. Дмитрий, вытянув шею, заглянул во двор к соседу. Под самой изгородью лежала огромная свинья, которую окружали хрюкающие поросята.

«Ну что, Ниорадзе, — мелькнуло в мыслях у Дмитрия, — хорошо иметь во дворе свинью с поросятами!» Он взглянул на дом соседа — утопающее в зелени строение со стеклянными стенами, водруженное

на столб. Создавалось впечатление, что дом был без стен. Димитрий внимательно оглядел квартиру себе. Вдруг в спальне показалась жена Ниорадзе в одной рубашке, подошла к постели, откинула край одеяла и легла. Димитрий, затаив дыхание, спрятался за дерево и какое-то время стоял, не дыша, словно ожидая чего-то. Тут в комнату вошел мужчина в трусах. Сердце у Димитрия затрепетало, к горлу подкатил ком, от волнения он с трудом узнал в мужчине Ниорадзе, а узнав, облегченно вздохнул и отправился на поиски жены. Он подошел к бассейну, до краев наполненному голубой водой. В нем резвились рыбы, не обращая внимания на тритонов с пестрыми плавниками. Димитрий сел на край бассейна, плеснул себе водой в лицо. Вода оказалась холодной, и Димитрий поежился с неудовольствием. Внезапно поверхность бассейна запузырилась, в воде что-то забурчало, побежали волны, и показалась голова жены Димитрия. Она подплыла к берегу, и Димитрий увидел, что у жены рыбий хвост. Она ловко вертела им. Димитрий остолбенело смотрел на жену. Но, опомнившись, подал ей руку, помог выйти из воды. Жена отстегнула пластмассовый рыбий хвост и предстала перед мужем в чем мать родила. Димитрий разинул рот. «Что ты делаешь, опомнись!» — проворкотал он, оглядываясь по сторонам. К счастью, никто их не видел. Он снова уставился на жену, ему хотелось кричать, но голос не слушался его. Кто-то схватил его за руку. Димитрий съежился, повернулся на другой бок.

— Ты встанешь или нет? — сквозь сон слышался голос жены.

И Димитрий понял, что уже рассвело, что над головой стоит жена и угрюмо смотрит на него.

— Ты на работу не собираешься? — это он услышал совершенно отчетливо.

Он открыл глаза, лег на спину и уставился в потолок. Он думал о своем сне. «Как наяву, — мелькнула мысль, — как наяву».

Вдруг он вспомнил о своем макете. Как сумасшедший вскочил с постели и в одних трусах бросился в спальню. Мальчик ровно дышал, сжимая в руке ма-

жет из целлулоида. Димитрий нагнулся над ним, осторожно высвободил свое детище и внимательно осмотрел его. Затем вернулся в гостиную, открыл свой портфель и бережно положил туда макет. Потом подошел к шкафу, торопливо достал оттуда спрятанные накануне чертежи, разложил на столе. «Что они хотят от меня, что?» — подумал он, отмечая в квадратах, изображающих индивидуальные дворы, места, где должны быть бассейны. Затем старательно сложил чертежи и тоже спрятал в портфель.

Дальнейшие его действия были чисто механические: он умылся, побрился, оделся, выпил стакан крепкого чая и собрался уже уходить, когда встретился с изумленным, но горящим надеждой взглядом жены.

— Я свое возьму, вот увидишь, победа будет за мной! — воскликнул он и торопливым шагом направился к двери.

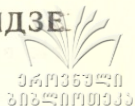
Перевела Лиана ТАТИШВИЛИ

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ДЖАВАХИШВИЛИ Давид Георгиевич. Род. в 1935 г. в Тбилиси. Печатается с 1961 г. в республиканской прессе и периодике, автор сборника рассказов «Раздумья у камня» (1964), сборников детских сказок и рассказов «Ледяной мальчик», «Дядя Сева» и др. По образованию и профессии геолог (окончил географо-геологический факультет ТГУ). Член СП.

ТАБАТАДЗЕ Карло Константинович. Род. в 1933 г. Окончил ГПИ. Автор сборников рассказов «Пчелы улетают вдаль...», «Одержимый» и др. Член СП.

ГРИГОЛИА Георгий Михайлович. Род. в 1923 г. в Батуми. Юрист по образованию (окончил юридический факультет ТГУ) и по профессии. Печатается с 1969 г. в республиканской прессе и периодике.

**ЗАКОН ЖИЗНИ**

Мечты нас жить торопят, и в движенье
Мы от рожденья: все скорей, скорей!..
И молотом святого нетерпенья
Дробим мы вечность на мгновенья дней.
В зеленом детстве взрослости хотим мы —
Приходит юность с голубою дверцей...
Но Время, вот беда, необратимо —
И гонит вспять желанья память сердца.
И нет, выходит, проку в ожидании.
Мы каждый миг одной рисуем кистью —
Душою. И в тени воспоминаний
Мы благодарны и корням, и листьям.
Хоть дорог мне цвет неба и сирени —
А старость разукрасит белой краской.
Как гость случайный, снег в конце апреля...
Но мой апрель давно стал синей сказкой.
Не потому ль с годами мы тоскуем
По прошлому, умерив нетерпенья?
И годы, как колоду карт, тасуем,
В судьбе своей черпая вдохновенье.
Жизнь движется по своему закону,
Жестока и в неведение коварна:
Раскинет над тобой, в глумленье, крону
Холодного божественного лавра...
И к мужеству души своей взывая,
Уходим вновь мы под озноб светила.
Как ни бесстрастна жизнь, а смерть лихая
Нам ни одной мечты не подарила...

В полночь дремлющему сторожу
Ты в волненье тихо скажешь,
Что готов отдать полжизни
За любую папиросу.

А за ту, что тонкой тенью
У платана ждать осталась,

Ты бы отдал десять жизней.
Но возьмет ли хоть одну?..



●

Когда-то жизнь над нами посмеялась,
Нас разделив пространством, как стеною.
С годами боль истлела и распалась —
Теперь вот мы смеемся над судьбою.

Да, оказалось, что не так уж страшно
Идти по жизни, потеряв друг друга,
Хоть все, что жить осталось во вчерашнем,
Зовет обратно, к изначалу круга.

Но сладкий миг, наполненную чашу
Былой любви принять мы б не сумели.
Ведь на тропинках, там, где души наши,
Следы сердец, которые нас грели...

ПОКОЙ И ЛЮБОВЬ

Страданья — бремя, думаешь порою...
Но голос тайный вдруг встревожит кровь:
Глупец, начнешь искать в любви покоя —
Найдешь покой. Но ведь уйдет любовь.

●

Хоть корзину, полную упреков,
Опрокинь на голову мою —
Я не вижу в ревности порока,
Пока сам ревную и люблю.

Изменил всем женщинам Отар! —
Говорят в округе млад и стар.
И одной лишь носит он цветы.
Та одна, все знают, это ты.

Все упреки выдержу, но если
Примешь от другого ты цветы,
Полюблю всех женщин я из мести,
Кроме той, которой будешь ты.



Перевела Светлана КОКОРЕВА



Инда ДАДИАНИ

КРУГОВОРОТ

По вечерам летают птицы
и учат выводки летать.
Маршрутом первым:
от гнезда до мира
Летят птенцы,
и всплески крыльев
Похожи на аплодисменты в полном зале.
В вечернем небе чертят круг за кругом
И возвращаются, усталые, обратно...
А летом новым — вновь круговорот —
Уже птенцы гнездо свивают
И учат выводки летать.

ОЖИДАНИЕ

В вечер, ветром исхлестанный,
Побежать к тополям на свиданье —
рассказать о себе.
Или теням деревьев,
Причудливым росчерком стены покрывшим,
говорить в тишине о тебе.
Под скользящими звездами
одиноко бродить
И молчать,
И не знать,
То ли сбудется,
То ли не сбудется что-то.

●

Помнишь, небо зажглось над Мтацминдой
Красно-багровое?
Помнишь, ветер гнал облака,
И серым налетом покрывлся закат,
И стало вдруг так тихо,
Так тихо, что
 слышны были шорохи теней?..
Ты помнишь?..

●

Тени странной вязью чертят стих неясный,
Тишина уснула, только слышно мне,
Как в немом сплетенье, я и ты, как тени,
Я и ты, как тени, бродим в тишине.

В сумерках уснули все предначертанья,
В сумерках уснули даже боль и страх..
Сколько раз привидится это сновиденье,
Сколько раз, проснувшись, буду я одна?

●

Город крыш,
Ржавых крыш,
В серой сетке дождя.
Тишина,
Темнота,
Только ты,
Только я.
Что же может случиться?
Может, все это зря?
За окном — город крыш,
Мокрых крыш и дождя.
Вдалеке, над Курой — ожерельем огни.
Как тиха тишина,
Если люди одни...

В обычный день
в обычный дом
В жару,
сумятицу и скуку
Ворвался неучтивый вихрь.
Пошарил в закоулках,
Распахнул окно.
Он сквозняком омыл сереющие лица
И смел тоску,
Унес ее, как ворох
Старой канцелярской переписки,
А сам — исчез...

◆

ХРОНИКА

ЛАУРЕАТЫ НАЗВАНЫ

ЦК КП Грузии и Совет Министров республики приняли предложение Комитета по Государственным премиям Грузинской ССР в области литературы, искусства и архитектуры при Совете Министров Грузинской ССР и премии Совета Министров Грузинской ССР имени В. Мая-

ковского за 1985 год присудили:

ДАВТЯНУ Гагику Тиграновичу — поэту (Армянская ССР);

МЧЕДЛУРИ Давиду Зуробовичу — поэту;

НАДАРЕИШВИЛИ Лаше Владимировичу — поэту.

◆

Георгий ГРИГОЛИА

ВЗЯТКА


Рассказ

...КОГДА наша планета, плывущая в безбрежном океане Вселенной по заданной Богом орбите, совершив очередной оборот вокруг своей оси, повернулась лицом к могучему светилу и первые лучи его проникли в покрытые пылью и копотью, давно не мытые окна квартиры бывшего учителя математики Иннокентия Белахнэли, он проснулся.

Следует отметить, что наш почтенный герой всегда вставал с постели как только светало. Это была его профессиональная привычка, благодаря которой старый ментор за всю свою многолетнюю педагогическую деятельность ни разу не опаздывал на работу.

Однако со временем полезная привычка превратилась в частицу его натуры и после перехода на пенсию стала беспокоить его, нарушая сон и внося диссонанс в его размеренную жизнь.

Пробудившись рано, он не в состоянии был вновь уснуть и оставался наедине с печальными думами, часто посещавшими одинокого человека на закате поблекшей жизни.



Настенные ходики времен первых пятилеток с засиженным мухами циферблатом показывали половину седьмого. Было слишком рано. Поэтому, ворочаясь под ситцевым пестрым лоскутным одеялом, он попытался вздремнуть, но все попытки оказались тщетными. Сон покинул его.

Тогда он вылез из теплой постели и продел ноги в приспособленные под шлепанцы старые туфли. Неприятный холодок пробежал по всему телу, заставив его лихорадочно вздрогнуть.

Вдруг он вспомнил, что сегодня воскресный день. Искра радости вспыхнула в его душе, и тепло разлилось по жилам.

Он зевнул, потянулся, встал и направился в комбинированную ванную комнату общего пользования, расположенную рядом с его апартаментами.

Воскресный день занимал особое место в его жизни. В этот день, выражаясь словами нашего героя, он позволял себе отдаваться «бесшабашному времяпрепровождению» и «безотчетной трате денежных средств». Разумеется, эта трата производилась в пределах его скромной пенсии, поэтому разнузданные действия не носили общественно опасного характера и ничем не угрожали интересам общества. Суть их заключалась в следующем: в воскресное утро бывший педагог вместо традиционного домашнего чая угощался в диетической столовой лангетом, бифштексом или обыкновенными котлетами, которые по содержанию и вкусовым качествам не особенно отличались друг от друга, если не считать разнообразия гарниров, придающих этим блюдам самобытный характер.

Венцом утренней трапезы была стограммовая порция водки, приобретенная в соседней закуской и нелегально занесенная в диетическую столовую при помощи пузырька из-под чернил с поэтической этикеткой «Радуга». После чего Иннокентий отправлялся на дневной сеанс в кино, где по обыкновению спал или дремал, в зависимости от содержания фильма.

Обедал он в настоящем ресторане. Тут Иннокентий заказывал бефстроганов, омлет, харчо или натуральный бифштекс по-гамбургски, но без закуски и

прочих излишеств. Как правило, обед он запивал стаканом красного вина. Пил он медленно, мелкими глотками, облизывая губы, цокая языком, смакуя и наслаждаясь вкусом живительного напитка, растекающегося по жилам, словно солнечные лучи.

Как истинный грузин, даже в одиночестве он не мог обойтись без тостов и перед каждым глотком мысленно произносил скромные, но прочувствованные речи, обращенные к покойной жене, к погибшим на фронтах товарищам, к ушедшим на вечный покой близким и друзьям. В заключение он благословлял всех живущих на земле, желая им счастья, здоровья и мирной жизни.

Иннокентий с удовольствием слушал музыку в исполнении эстрадного оркестра, и душа его наполнялась неизъяснимой радостью. Он всячески старался максимально продлить удовольствие, доставляемое пребыванием в этом благословенном заведении, и не обращал внимания на косые, недовольные взгляды официантов, жаждущих поскорее избавиться от мелочного клиента, ибо почтенный пенсионер, будучи честным человеком, всегда расплачивался точно по прейскуранту.

Его тут знали и меж собой называли «крохобором», что абсолютно не трогало старика, так как он хорошо знал природу официантской души, тепло отзывающейся лишь на щедрые подачки.

Из ресторана Иннокентий вновь направлялся в кинотеатр, на вечерний сеанс. Любил он музыкальные и мультипликационные фильмы, обожал комедии, не выносил драм и трагедий. Война оставила в его душе неизгладимый след. Всякое насилие вызывало в нем отращение, гнев и возмущение.

После кино он совершал небольшой моцион, не спеша прогуливаясь по ярко освещенным центральным улицам города. Возвратившись домой, он обычно приносил свои извинения фотографии покойной жены, висевшей над изголовьем двуспальной, когда-то никелированной кровати, которая со скрипом ржавых пружин принимала в свои объятия его усталое, дряхлеющее тело. Перед сном он зажигал ночную лампу-грибок и перечитывал последнюю страницу газеты «Вечерний Тбилиси», где печатались траурные объявления

понесших тяжелую утрату родственников и близких, а также фамилии, имена и отчества граждан, навеки покинувших этот суетный мир. Знакомые имена и фамилии встречались все реже. Наконец он гасил свет и засыпал безмятежным младенческим сном.

Таков был, в основном, распорядок воскресного дня, приносившего скромные радости и удовольствие старому пенсионеру. В остальном его ежедневные потребности вполне совпадали с реальными возможностями и были отмечены строгим воздержанием и разумной экономией денежных средств.

Что касается будней Иннокентия, тут все, как говорится, стояло на должной высоте. Он постоянно находился в самой гуще общественной жизни своего микрорайона, состоял членом товарищеского суда при жилищно-эксплуатационной конторе, был членом комиссий: по координации борьбы за укрепление дисциплины, по искоренению негативных явлений и профилактике правонарушений, а также членом еще нескольких комиссий, занимающихся полезными и бесполезными для общества делами. Все поручения Иннокентий выполнял со рвением человека, чувствующего свою ответственность, и, что самое главное, делал это бескорыстно, на добровольных началах, не имеющих того приятного конца, который периодически приводит человека к форточке бухгалтерской кассы, вознаграждающей средствами материального стимулирования в виде определенного количества государственных казначейских билетов.

Зато он пользовался истинным авторитетом и уважением тех ответственных товарищей, которым облегчал выполнение их прямых служебных обязанностей.

Итак, пока мы занимались описанием некоторых подробностей из жизни нашего героя, он успел побриться, умыться в ванной общего пользования, причесать волосы, усы, бородку и возвратиться в свою обитель.

Войдя в скромно обставленную, полутемную комнату с давно выцветшими и потрескавшимися обоями, бывший педагог с ходу стал наводить в доме порядок. Сперва он убрал постель, потом подмел пол, стряхнул пыль с изъеденной червями ветхой мебели, в том числе

и со старого протертого дивана, из продранного сиденья которого, словно кобра, торчала пружина.

До открытия предприятий общественного питания оставалось достаточно времени, поэтому он решил заодно осуществить давно намеченное мероприятие — заштопать рваные носки. Достав из старинной железной коробки из-под икры подходящие нитки, иголку и грибок, оседлав горбатый нос роговыми очками, он с ловкостью и сноровкой профессионального штопальщика заделал дырки в носках и, довольный результатами своих трудов, сирым голосом стал напевать: «Мой любимый старый дед прожил семьдесят пять лет...» и т. д.

Я надеюсь, всем знакома эта мелодия из знаменитой оперетты «Продавец птиц», и для более живого восприятия моего повествования прошу каждого из читателей, обладающего слухом, мысленно воспроизвести ее в своей памяти.

Подготовка к воскресному пиршеству почти закончилась. Иннокентий был одет и обут, на шею его красовался новый модный галстук — подарок двоюродного брата, инспектора бюро товарных экспертиз. Вдруг он вспомнил, что в прошлое воскресенье случайно разбил драгоценный пузырек с этикеткой «Радуга», следовательно, надо было искать заменяющую посуду.

В небольшой комнатке все было поставлено вверх дном, однако ничего подходящего не нашлось. Наш герой устал, на лбу выступили капли пота...

Вытерев пот с лица и передохнув немного, он решил заглянуть в давно забытый чуланчик. Тут судьба наконец улыбнулась ему.

На дне старинного сундука дореволюционной эпохи он обнаружил именно то, что искал. Это была двухсотграммовая плоская лабораторная колба с показателем количества жидкости. В придачу у нее имелась вполне надежная пробка.

Радостная улыбка озарила лицо старика. Естественно, колба не Америка, но нашего героя охватило приблизительно такое чувство, которое испытал Христофор Колумб, совершив свое великое открытие.

Боже! Как мало надо маленькому человеку, чтоб испытать большую радость!

Иннокентий срочно промыл колбу, надел свое па-

радное драповое пальто, шляпу, положил колбу во внутренний карман и, оставив комнату в полном беспорядке, вышел в коридор.



Спустя некоторое время бывший педагог, бодро шагая по тротуару, направлялся к знакомой закусочной.

Была поздняя осень, но день стоял погожий. Воздух был чист и прозрачен. Небо светилось ясной лазурью. Солнце по возможности щедро разливало свои лучи, раскрашивая все поднебесье яркими, сочными красками, ласкающими взор человеческий и наполняющими души тихой неизъясимой радостью жизнеощущения. У Иннокентия на душе тоже было легко и радостно. По предварительным его расчетам, день предвещал быть содержательным и полнокровным.

Однако с самого начала его постигла неудача — закусочная оказалась закрытой. Под дверным стеклом висела дощечка со старательно выведенной каким-то грамотеем надписью: «Закрита на ремонт».

Иннокентий недовольно мотнул головой и вспомнил, что на углу противоположной улицы недавно открыли новую хинкальную. Он осторожно пересек улицу и через несколько минут очутился на месте.

Несмотря на ранний час, в хинкальной было много посетителей. Тут Иннокентия не знали, и ему пришлось стать в общую очередь. У стойки стоял здоровенный верзила, похожий на вышибалу из американских гангстерских фильмов, и с глубокомысленным выражением лица разливал пиво. Он ловко жонглировал увесистыми пол-литровыми кружками, быстро сокращая очередь, которая стремительно двигалась вперед.

Очутившись визави с расторопным служителем общественного питания, Иннокентий попросил налить сто граммов водки, что моментально было исполнено.

— Чем закусите? — предупредительно спросил буфетчик, указывая на испускающие ароматные испарения только что занесенные сочные хинкали и с ювелирной точностью нарезанные кусочки сыра и колбасы, просвечивающие на свет.

— Покорно благодарю! — вежливо отказался Иннокентий от угощения. — Закуски не требуется!.. —

расплатившись, он взял со стойки свою порцию огненного напитка и, отойдя в сторонку, стал переливать водку из стакана в собственную посуду. Он так старательно проделал эту операцию, что не проли ни капли драгоценного зелья.

Судя по данным лабораторного прибора, до ста граммов жидкости не хватало около двадцати.

«Настоящий грабeж!» — возмутился про себя старый педагог и, недовольно хмыкнув, твердо решил в следующий раз непременно потребовать книгу жалоб и предложений.

Говорят, что у людей, чья служебная деятельность сопряжена с определенным риском, обостряется чутье и они почти инстинктивно начинают ощущать приближение опасности...

Сомнительные и подозрительные действия Иннокентия не ускользнули от ястребиного взора ветерана торговли, закаленного в неравной борьбе с контрольно-ревизионными органами. Еще в прошлом году благодаря подобному «сомнительному типу», который оказался внештатным инспектором комитета народного контроля, за обсчет и обвес потребителя он был снят с работы и целых семь месяцев проболтался без дела. Один только бог знает, сколько энергии и трудов пришлось ему затратить и сколько расходов понести, чтобы вновь очутиться у заветной стойки!..

Нависшая над головой серьезная опасность заставила его всполошиться. Надо было срочно действовать. «Промедление смерти подобно!» — подумал он, и в бычачьей его голове мгновенно созрел оперативный план действий.

— Самсон! — густым баритоном окликнул буфетчик ученика повара, вертевшегося на кухне. — Замени меня на минуту... — бросил он на ходу появившемуся в дверях худощавому длинноногому парню и, срывая с себя фартук, побежал вслед за вышедшим на улицу Иннокентием.

Несколькими гепардовыми прыжками он нагнал почтенного педагога и, преградив ему дорогу, возник перед ним так неожиданно, что последний слегка ошел и растерялся.

— В чем дело? — дрогнувшим голосом спросил

Иннокентий и, приподняв голову, уставился на верзлу-буфетчика.

— Заклинаю всем, что вам дорого на белом свете, одолжите на минутку вашу мензурку! — попросил буфетчик таким жалобным тоном, который никак не соответствовал его богатырской внешности.

Они стояли друг против друга, как Давид и Голиаф, у которого уже был подбит один глаз и который молил противника о пощаде!

Иннокентий невольно, почти инстинктивно выудил из внутреннего кармана заветную мензурку и протянул ее взволнованному «Голиафу», который, выдернув пробку, мгновенно осушил сосуд. После чего произнес довольно длинный для тех условий тост, закончив его следующими словами: «Дай бог вам здоровья, долгой жизни и хорошего настроения! Настроение — это самое главное в жизни». И он возвратил пустую склянку совершенно растерявшемуся Иннокентию.

— Позвольте, что это значит?! — возмутился тот.

— Не обижайтесь, папаша, у меня было загадано, — пояснил буфетчик.

— Как это загадано?

— Жена у меня в положении, на днях должна разрешиться!

— А я тут при чем? — удивился Иннокентий.

— Гадалка Роза с Авлабара предсказала жене: если до родов твой муж выпьет водку, купленную бородатым человеком, то у тебя непременно родится мальчик, а если нет, то родится четвертая дочь! Вы представляете, какой это ужас?! А в наше время, сами знаете, как трудно найти бородача, даже столетние старики не носят бороду, все молодеют! Целый месяц я провел в ожидании счастливого случая, наконец бог смилостивился и прислал вас, теперь я считаю, что мальчик уже дома, и все — благодаря вам! — он обнял старика, расцеловал и, понизив голос, сказал, зачихнув ему что-то в левый карман пальто. — А это магарыч! На крестины непременно приглашу, папаша!..

«Вот чудак! — подумал Иннокентий. — Поразительно, что в наше время еще встречаются суеверные люди!» Он водворил пустую колбу на прежнее место

и, заложив руки в карманы, медленно побрел по улице. Вдруг левой рукой он ощутил прикосновение глянцево-гладкой бумаги.

«Деньги!?» — мелькнуло в голове, и, как ужаленный, он выдернул руку из кармана. Пять пунцовых десятков ослепили его взор.

Он понял, что произошло нечто ужасное, непоправимое! Ему, бескорыстному, честному человеку, за всю свою жизнь не запятнавшему себя крапинкой грязи, подсунули взятку! Да, это была настоящая взятка. Его определенно приняли за кого-то другого...

Благородная ярость охватила все существо старого педагога. Первое, что пришло ему в голову, это было решение немедленно обратиться в органы милиции, разоблачить и строго наказать пройдоху-буфетчика, но, слегка остыв и успокоившись, он сообразил, что у него не было никаких доказательств, не было также свидетелей, без чего голословное заявление выглядело бы необоснованным, а изощренный в жульничестве буфетчик мог обвинить его в шантаже и клеветничестве и самого отдать под суд. При этом он представил себе неприятную серию допросов, затянувшуюся судебную волокиту, целый ряд переживаний и волнений, связанных со всей этой сложной процедурой, и малодушно отказался от принятого вначале решения. Почувствовав, что сбился с праведного пути и поневоле стал соучастником гнусного преступления, он испуганно огляделся по сторонам и поспешно сунул деньги обратно в карман.

Левая рука горела от соприкосновения с грехотворными бумажками. Его охватило ранее никогда не испытываемое чувство страха и стыда.

Это был страх человека, посягнувшего на незыблемые устои законности и всем нутром ощущавшего нависший над головой неумолимый меч возмездия.

Потупив взор, Иннокентий медленно шагал в неизвестность. Он не мог смотреть в глаза прохожим. Казалось, будто каждый из них знал, что он преступник. Внутренний голос невидимого двойника нашептывал ему: «Взяточник! Бессовестный взяточник!..» И голос этот отдавался в висках учащенным стуком молоточков. Казалось, что кто-то преследует его по пятам.

Недалеко от похоронного бюро, у железных ворот,

он заметил двух неизвестных мужчин. Они с подозрением разглядывали Иннокентия. Один из них что-то многозначительно шепнул другому, указав взором на Иннокентия.

«Работники милиции», — мелькнуло в голове несчастного пенсионера. Он прибавил шагу и, миновав «опасное место», ощутил, как загорелась спина, будто на нее положили горчичный компресс... Невольно оглянувшись, к ужасу своему он заметил, что неизвестные идут вслед за ним.

«Боже, убереги меня от всяких несчастий!» — впервые в жизни обратился убежденный атеист к господу богу и, стремясь сбить со следа преследователей, юркнул в двери бюро.

Дабы не навлечь на себя подозрения, Иннокентий с поддельным интересом стал расспрашивать сидевшую за форточкой болтливую, как сорока, сотрудницу о порядках, правилах и ценах, установленных на тот или иной вид обслуживания покойников. Худошавая, с лимонным цветом лица особа, точно автомат, выпаливала зазубренные слова, и вскоре Иннокентий до мельчайших подробностей знал, как и где хоронить усопших, сколько обходятся гробы разных размеров и разного ассортимента, процедуру выделения земельных участков для могил, устаревшие и прогрессивные методы музыкального оформления панихид и другое...

Сперва спиной ощутил он приближение опасности, потом, украдкой оглянувшись, увидел стоящих позади «тайных агентов», которые внимательно следили за ним. Озноб пробежал по всему его телу, и оно задрожало, как резко задетая гитарная струна. Невидимый двойник в его хилой груди забил в набат: «Погиб, погиб, погиб!..»

Все прошло, пропало, сгорело, испепелилось, зачеркнута вся жизнь — итог многолетних трудов, втоптан в грязь имя честного человека! Все пошло прахом — заслуги, почет, уважение!..

Иннокентий уже не слышал голоса «желтой сороки», он только видел ее бледные, потрескавшиеся губы и мелькавшие за ними два ряда ослепительно белых зубов.

Надежда, эта добрая, но обманчивая фея, даже на эшафоте не покидает человека, вселяя в него иллюзорную уверенность в возможность свершения чудя и избавления от неминуемой гибели.

В критический момент она не покинула и нашего героя. «Возможно, это случайное совпадение!» — подсказала она обезумевшему от страха старику, и он всем своим существом вцепился в эту хрупкую, как соломинка, мысль и, чтоб проверить ее достоверность, нетвердым шагом направился к выходу.

Напряженный до предела слух Иннокентия явственно воспринял шум, производимый за его спиной двумя парами мужской обуви... Очевидно, ему не суждено было избежать рокового удара судьбы.

Не успел он пройти и десяти шагов, как чья-то сильная, властная рука схватила его за левый локоть.

«Это конец!» — опять шепнул ему кто-то...

Современная наука еще точно не установила, с какой стороны душа, расставаясь с телом, покидает человека, однако, если верить весьма распространенной крылатой фразе, то от сильного испуга душа человека уходит в пятки... Но в этот роковой момент душа почтенного пенсионера направилась сперва в сторону левой стопы, потом правой, тут, расчленившись на десять неравных частей, сосредоточилась в пальцах обеих ног, и если б не прочно заштопанные носки и туго затянутые шнурки ботинок, наверняка выпорхнула бы наружу. Иннокентий почувствовал страшный жар в нижних конечностях, колени затряслись, готовые подкоситься под тяжестью его грешного тела.

Он повернул свое обескровленное лицо влево и в человеке, державшем его локоть, узнал одного из преследователей.

Как показалось старику, на жирной, лоснящейся физиономии «агента» играла зловещая дьявольская улыбка.

— Извините, дяденька, не нужны ли вам классные музыканты для панихиды? — учтиво спросил «агент».

— Музыканты?! — бессмысленно пролепетал несчастный пенсионер и повис на руках у незадачливых музыкантов...



...Спустя две недели Иннокентия выписали из больницы, возвратив ему все вещи вместе со злополучными деньгами. В его когда-то сравнительно здоровом теле врачи обнаружили гипертоническую болезнь, ишемию сердца и неоспоримые признаки нервного расстройства.

Дома его одолели бессонница и апатия. Исчез аппетит. Его уже не тянуло, как прежде, в жэк, где ждала любимая общественная работа.

В те редкие промежутки, когда измученному, изнуренному бессонницей старику удавалось сомкнуть глаза и вздремнуть, его посещали кошмарные сны и видения. То мерещились тюремные застенки и шумные судебные процессы, то снился ад и черти, рогатые, с козьими бородками и страшными рожами, которые бросали его в огромный котел с кипящей смолой и, оглушая все вокруг пронзительным хохотом, криками и гиканьем, выплясывали какой-то дикий ритуальный танец под грохот музыки, напоминающей знаменитый «Танец с саблями» Арама Хачатуряна из оперы «Гаянэ». Порой он видел окруженного неистовствующей толпой буфетчика-соблазнителя, который с презрительной улыбкой на лице указывал огромным волосатым пальцем на Иннокентия и зычным голосом ревел: «Смотрите на этого попрошайку, на этого подлого вымогателя!.. Он получил взятку от меня! А еще разыгрывает честного человека, бессовестный взяточник!...» Это было самое страшное, унижительное и оскорбительное видение. Иннокентий горел от стыда и обливался ручьями холодного пота. Со стонами и стенаниями просыпался великий грешник, задыхаясь и едва переводя дух.

Всепоглощающая скорбь, страх и мрак без прописки поселились в его скромной обители, изгнав из нее спокойствие, свет и те маленькие радости, которые порой навещали несчастного пенсионера...

Однажды ночью, когда инспектор райфинотдела Гванджи Пулариа после очередной попойки возвращался домой, в тускло освещенном коридоре его внимание

привлекли тяжелые вздохи, стоны и причитания, выходящие из соседской комнаты.

Будучи человеком отзывчивым, Гванджи подошел к дверям соседа и прислушался. «Что-то неладное творится со стариком», — подумал он и, недолго раздумывая, нажал на ручку двери, которая легко поддавалась воле инспектора, не будучи заперта на ключ.

При тусклом свете настольной лампы ему предстала странная картина: на скрипучей железной кровати сидел иссохший и измученный Иннокентий. Бледное, как полотно, лицо его было покрыто густой щетиной, совершенно поседевшие усы и борода были взъерошены. Из грязной, распахнутой ночной рубахи виднелась хилая, впалая, покрытая серебристой порослью грудь. На голове торчал неопределенного цвета ночной колпак домашней вязки с облезлой кисточкой. Расширенные глаза его с непонятым выражением блуждали по комнате...

В эту минуту он чем-то напоминал бессмертного гидальго Дон Кихота из Ламанчи. Сходство усугубляли старые книги и журналы, разбросанные в беспорядке вокруг ложа, и отраженная на стене причудливая тень старика.

Гванджи заговорил с ним мягко, пытаясь его успокоить. Налив из треснувшего старинного графина стакан воды, подал его старику, потом, громко икнув и наполнив комнату ароматом винного перегара, сочувственно спросил: «В чем дело, уважаемый тамада? Простите! — тут же поправился он. — Уважаемый учитель!».

Иннокентий с бульканьем отпил несколько глотков освежающей жидкости и возвратил стакан фининспектору. Потом воздел указательный перст к потолку и торжественным тоном произнес:

— Дитя мое! Обрати слух твой и очи твои к устам моим и запомни хорошо, что будет мною сказано!

Фининспектор еще раз сдержанно икнул, предварительно заслонив рот ладонью, чтоб изменить направление винных испарений, и, изобразив на лице напряженное внимание, сказал:

— Слушаю вас, уважаемый учитель!

— Знай и запомни навсегда, что взяточничество не только величайшее преступление, но и тягчайшее нака-

зание для честного человека! — тоном пророка проговорил Иннокентий.

— Святая истина! — согласился фининспектор и невольно посмотрел на свои золотые часы с массивным браслетом. Стрелки показывали два часа пополудни.

— Совесть человеческая — самый строгий судия! — продолжал старик замогильным голосом. — Кара ее — невидимая, но страшная, и некуда уйти или скрыться от нее: угрызение совести! Оно может истязать и в конце концов распять душу человеческую на позорном столбе, и существует одно-единственное спасение — это чистосердечное признание вины перед лицом закона. Понятно?!

— Понятно, батона, понятно! — пробормотал напуганный бредовой речью старика Гванджи и начал учащенно икать.

Слова Иннокентия произвели на него удручающее впечатление. «Наверняка свихнулся, несчастный», — подумал он, утешая себя, и, извинившись, ссылаясь на позднее время, поспешил удалиться, оставив мученика совести наедине с его мрачными мыслями.

* * *

На следующее утро, идя на работу, протрезвившийся, но не вполне выспавшийся инспектор Гванджи, не веря глазам своим, увидел, как почтенный пенсионер с маленьким аккуратным пакетиком в руке, медленно, но твердо ступая, входил в двери районного отделения милиции.

Восковое лицо Иннокентия выражало полное спокойствие и уверенность. Гванджи показалось, что над непокрытой головой старика светился едва заметный неоновый венец. Подобный тому, который он видел в далеком детстве на старинной иконе, где был изображен св. Георгий Победоносец, поражающий копьём крылатого дракона.



Джемал МЕХРИШВИЛИ

КОНТУРЫ БУДУЩЕГО

БЫЛО время, когда
флагман тяжелой
промышленности нашей рес-
публики, самый большой в
Закавказье Руставский ме-
галлургический завод был
предметом всеобщей гордо-
сти, а имена знаменитых
сталеваров этого предприя-
тия знала вся страна. Если
оставить в стороне успехи,
достигнутые в сравнительно
далекие теперь годы, для
иллюстрации достаточно и
того, что за пять лет, на-
чиная с 1974 года, коллек-
тив завода 18 раз одержи-
вал победы в отраслевом
социалистическом соревно-
вании в республике, трижды
был удостоен переходящего
Красного знамени ЦК
КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ.

Но прошло какое-то вре-
мя, и заводом овладел не-
дуг отставания. Некогда
монолитный, сплоченный и
единодушный коллектив ус-
тупил передовые позиции,
упал и престиж металлур-
га — этой тяжелой, но поч-
етной и мужественной
профессии. Отставание и
неудачи, которые на пер-
вых порах воспринимались
как случайность, постепен-
но приняли нежелательные
размеры и стали хрониче-
скими. За 1979—1982 го-
ды завод недодал государ-

Тот, кому дорога честь республики и небезразлична судьба Руставского металлургического завода, не может не задаться естественным вопросом: может ли Руставский металлургический завод стать прибыльным и вновь показаться в рядах передовых предприятий?

Да, может! При условии решения проблем, которые душат его сегодня, как затянутая петля. Вообще-то производству, тем более убыточному, головоломных ситуаций и проблем не занимать. Понятно, что и Руставскому металлургическому заводу предстоит развязать множество сложных узлов, но и они кажутся несущественными рядом с двумя глобальными проблемами, стоящими перед коллективом, — это **затягивание стратегическо-фундаментального перевооружения и текучесть кадров.**

Давайте попробуем разобраться в каждой из них отдельно, взвесить и вынести на всеобщий суд.

Итак, Руставский металлургический завод работает нерентабельно. Основная причина этого — низкая производственная мощность технологических агрегатов. Возраст некоторых установок и оборудования — 30—34 года. Они морально и физически настолько устарели, изношены и амортизированы, что не отвечают элементарным современным требованиям. Оснащенный агрегатами малой производственной мощности завод может экономически оправдать себя, быть хоть сколько-нибудь рентабельным только в том случае, если он производит лишь сталь и прокат. Наш же Руставский металлургический завод работает по полному металлургическому циклу. Что это значит? Это означает, что завод выпускает кокс, окускованную шихту, чугуны. Все это необходимо для того, чтобы получить сталь, а из стали — прокат. И этот полный и многообразный цикл уже не в состоянии осуществить технологические агрегаты малой мощности. Положение осложняется и тем, что в республике нет необходимых для завода сырья и руды. По первоначальным расчетам, завод должен был работать на базе закавказского сырья и руды, и до определенного времени так оно и было. Но впоследствии, когда сырье было исчерпано, да и возросли производственные мощности, сами собой изменились и масштабы снабжения. Сейчас на завод ежедневно поступают тысячи тонн сырья и руды с далекого Казахстана и Украины. Транспортировка об-

ходитя дорого — в прошлом году, например, на железно-дорожные перевозки ушло более 4 миллионов рублей. Такой масштаб транспортировки сырья и работа по полному технологическому циклу экономически оправданы для больших металлургических заводов. Наш же Руставский металлургический, который представляется нам большим, да и в самом деле он самый крупный в Закавказье, рядом с такими гигантами, как Магнитогорский, Череповецкий, Липецкий, Криворожский металлургические заводы, выглядит уж очень скромно. К примеру, Магнитогорский металлургический завод дает в год 16 миллионов тонн стали, а Руставский — 1 миллион 400 тысяч.

Я привел эти цифры не для того, чтобы принизить значение завода. Руставский металлургический завод имеет свои функции, задачи, значение и назначение. Сегодня нельзя представить нашу республику без Руставского металлургического завода, с успехами которого связана нормальная деятельность многих предприятий и продукция которого отгружается примерно в сорок социалистических, капиталистических и развивающихся стран.

Необходимо перевооружение завода, оснащение его в соответствии с новейшими достижениями технической мысли. Технические предложения по фундаментальному перевооружению Руставского металлургического завода, которое в корне изменит объем и структуру производства продукции, еще в 1977—1979 годах разработали сам завод и находящийся в Рустави проектный институт «Грузгипромез». По этому предложению пять основных особенно устаревших цехов завода должны быть ликвидированы и вместо них возведен один большой цех — мартеновский электроплавильный цех с машинами непрерывного розлива металла.

С осуществлением этого мероприятия годовая мощность завода возрастет на 400 тысяч тонн и достигнет 1 миллиона 800 тысяч тонн стали. Параллельно возрастет производительность труда и прибыль, значительно будут облегчены условия тяжелого труда металлургов, окончательно решится вопрос текучести кадров.

Техническое перевооружение завода положительно решит в то же время социальные и экологические проблемы. Аглофабрика, коксохимический и мартеновский цехи, доменные

печи, которые большей частью работают на мазуте, ^{сегодня} сильно загрязняют среду. В условиях же нового метода ^{вы-}плавки стали подобное загрязнение среды будет ^{исключено}. Однако здесь сразу же возникает и другая проблема, ^{2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2} которой уже сейчас необходимо уделить серьезное внимание: в настоящее время Руставский металлургический завод ежегодно расходует примерно 400 миллионов киловатт-часов электроэнергии, а при переходе на новый метод, по предварительным расчетам, понадобится дополнительно до одного миллиона киловатт-часов.

16 ноября прошлого года на Руставском металлургическом заводе побывал член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР Н. А. Тихонов. Он посетил трубопрокатный цех, ознакомился с производственным процессом, беседовал с рабочими, интересовался условиями их жизни. Н. А. Тихонов поддержал мнение о необходимости стратегически фундаментального перевооружения завода, на осуществление которого понадобится несколько сот миллионов рублей. Начало этого грандиозного процесса намечается на конец XII пятилетки, а его окончание — к 1995 году. Таковы контуры будущего Руставского металлургического завода, оснащение которого передовой техникой и технологией непременно придаст новую экономическую силу и заводу, и всей республике.

Вторая большая причина отставания руставских металлургов — текучесть кадров. Можно со всей решительностью сказать, что завод прямо-таки подтачивает нескончаемая текучесть кадров, которая составляет в среднем 16,7 процента. Металлургическому заводу не хватает 1.500 рабочих, и это в то время, когда ежедневно по утрам на работу в близрасположенные районы выезжают 3—4 тысячи руставцев. А ряды металлургов мы пополняем представителями сел республики, что еще больше осложняет социальную проблему и порождает новые головоломные ситуации.

Что вызывает такую текучесть кадров? Причин много. Нечего скрывать — профессия металлурга не из легких. К тому же в недалеком прошлом между отдельными отраслями, в том числе и в металлургии, произошло механическое уравнивание заработной платы, что заставило многих сталеваров охладеть к своей профессии, пропало желание стоять у полыхающих жаром мартеновских печей. Например, несколько лет назад средняя месячная зарплата рабочего-металлурга была ниже среднего месячного заработка рабочих десяти других рустав-

ских предприятий. В результате проведенных мероприятий показатели средней месячной заработной платы рабочего металлургического завода переместились с десятого на ^{ЭНД 35340} ^{202 000 010033} девятое место, но осталось еще немало факторов, которые следует пересмотреть и утрясти.

Особенно обострился вопрос кадров в 1976 и в последующие годы — в эти годы стали в массовом порядке выходить на пенсию рабочие той славной плеяды, которые стояли у колыбели металлургического завода. А хозяйственное и партийное руководство завода не было в достаточной степени подготовлено к этому ответственному моменту ни в психологическом, ни в практическом плане. Кадровая политика оказалась не на уровне требований времени. Следует сказать, что этот вопрос постепенно нормализуется. Признаки стабилизации налицо: в настоящее время на заводе работают более пяти тысяч молодых людей, из которых 4 тысячи — комсомольцы. Это тот молодежный коллектив, который примет перевооруженный, оснащенный новой техникой и технологией завод и которому предстоит решать новые почетные задачи.

У секретаря партийного комитета металлургического завода Реваза Тхелидзе свои соображения по поводу нескончаемой текучести кадров на заводе. Вот что он говорит:

— Беда состоит в том, что, планируя тот или иной производственный объект, Госплан не учитывает самого главного — проблему трудовых ресурсов. Вокруг нашего города, как грибы, выросли многочисленные монтажные организации, передвижные механизированные колонны, тепличные хозяйства. Именно они и «съели» кадры нашего завода.

Что поделаешь, беспощадная логика экономики оказалась сильнее нас: здесь, в горячем цеху, рабочий, исходя потом, едва вырабатывает в месяц 250—350 рублей. А в тепличном хозяйстве он с удовольствием трудится на свежем воздухе, и его заработок составляет 300—400 рублей в месяц. И еще у него в достатке как летом, так и зимой свежие огурцы и помидоры. Правда, Герой Социалистического Труда Арчил Дзамашвили, если ему пообещать золотые горы в теплице, все равно не покинет родной завод, но ведь таких рабочих, как Арчил, на заводе не так уж много, а колеблющихся в сторону хороших заработков и легкой работы — сотни.

Секретарь партийного комитета остро переживает предстоящее. Он пришел на завод в 1958 году безусым юнцом-чернорабочим и с тех пор живет делами и заботами родного предприятия. Он отец четверых детей. Его старший сын и невестка, пришедшие работать на завод по окончании Грузинского политехнического института, положили начало на металлургическом заводе семейной династии.

— При всех трудностях мы не опускаем рук, — продолжает делиться своими соображениями Р. Тхелидзе. — И сталевар, и рабочий теплицы, и садовник, и официант необходимы... И каждый должен заниматься своим делом с самой высокой добросовестностью. Руставский металлургический завод продолжает служить народу. В деле закрепления кадров большая роль отводится нашей партийной организации, а мы стараемся совершенствоваться и оттачивать стиль и методы работы.

Партийная организация металлургического завода — одна из самых крупных в республике — в ее рядах объединены 1.050 коммунистов и кандидатов в члены партии. Здесь 45 первичных партийных организаций, 111 партийных групп. Практика подтвердила: там, где партийная организация проявляет большую активность, где каждый коммунист проявляет большую принципиальность, там и показатели хозяйственной деятельности лучше. В этом отношении примером может служить первичная организация трубопрокатного цеха, где секретарем — Варлам Церцвадзе. Цех выполнил план прошлого года на 103 процента. Радует и темп роста производства: по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в январе нынешнего он возрос на 4,2 процента. Цех дает для нефтяников и буровиков 17 процентов общесоюзного объема производства необходимых труб.

К сожалению, не все звенья заводской партийной организации проявляют нужную принципиальность, не каждый из них нашел эффективный стиль работы с людьми. Потому и хромает дисциплина, бывают случаи нарушения партийных норм. Только в прошлом году 12 коммунистов получили строгие партийные взыскания. Десять были исключены из рядов членов партии. О чем говорят эти факты? О том, что партийной организации предстоит большая работа по укреплению дисциплины в своих рядах, чтобы потом более смело и с чистой совестью вести весь трудовой коллектив на успешное выполнение больших и почетных задач.

Двери кабинетов генерального директора и главного инженера Руставского металлургического завода смотрят друг на

друга — у них общая приемная. С утра я целый час ждал прихода директора.

Вышедший из кабинета главного инженера рабочий, который видел меня минут двадцать назад, когда с каким-то чертежом входил к главному инженеру, доброжелательно спросил:

— Чего сидишь здесь? Кого ждешь?

— Директора.

— В такое время что здесь нужно директору?! — рабочий приподнял брови. — Он сейчас в кабинете будет.

— В кабинете?.. Да, но в кабинете его нет...

Рабочий от души рассмеялся.

— Кабинет нашего директора у мартеновской печи! Там, где по желобу горячий металл течет. Мы с ребятами в шутку этот бурлящий поток стали называем «мачари»! Да, так вот директор все время там находится. Ну, а там, где он, там у него и кабинет, чего удивляешься?!

Рабочий на минуту задумался, потом махнул рукой на сияющую приемную с выстроившимся в ряд легионом телефонов и с грубоватой искренностью доверительно сказал мне:

— Если сидеть здесь, дело не делается! Судьба завода решается в цеху, у печей. Потому и директор большей частью там крутится. Кто знает, когда он сюда придет, да и найдется ли у него время на это. Лучше тебе искать его на территории завода... Ну, я пошел, некогда мне...

И, стуча сапогами, выбежал из приемной.



Тамаз ЧИЛАДЗЕ

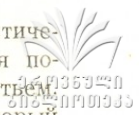
ИЗ КНИГИ „ДРЕВНЕЙШИЙ ЯЗЫК ЛЮБВИ“

ДЕНЬ ПОЭЗИИ

КОГДА мы вспоминаем поэзию, то, как правило, прежде всего вспомним наших предков — великих поэтов-классиков; с уважением отмечаем их благотворное воздействие на наше творчество. Это, конечно же, в первую очередь свидетельствует о благородстве наших устремлений, однако в то же самое время является своего рода проверкой личного значения и возможностей каждого из нас, поскольку при подобном сравнении наши стихи оцениваются вечными мерками, наши голоса, старательно «приподнимающиеся на цыпочках», сопоставляются с вечными голосами, а наши мысли хоть на мгновение, но все же становятся попутчиками вечных мыслей и тем самым учатся летать.

Старые поэты несли бесменную вахту на развалинах прошлого, подобно сторожам у истоков родника нашего нынешнего существования. Нет более высокого долга и обязанностей, чем те, что лежат на них в силу их собственного величия. И мы видим, сколь глубоким смыслом наделена вторая жизнь поэта, как величав свет его гения в будущих столетиях.

На протяжении всей истории нашего народа деятельность наших поэтов ни-



когда не ограничивалась ни рамками времени, ни политической ситуацией (хоть наши поэты и были выдающимися политическими деятелями), ни личным счастьем или несчастьем. «Облегчить собрату, пришедшему после меня, путь, который надлежит пройти», — вот девиз их жизни, и каждый из наших поэтов с удвоенной радостью или мукой, с удвоенной верой или сомнением, с удвоенной страстью и яростью сражался с безжалостным течением преходящего мира, потому с удвоенной, что любой из них подразумевал и видел рядом с собой человека будущего, поэта, «собрата, пришедшего следом», который пока еще не был и рожден на свет, однако его жизнь и творчество уже зарождались в стихе предка, взвалившего на себя и его долю ноши. Каждая строка в грузинской поэзии подразумевает человека будущего, который, в свою очередь, обязан так же постоянно и неизменно думать о своем «будущем собрате», и эта нескончаемая эстафета судьбы, эта удвоенная жизнь, эти помноженные двукратно сладость или яд превращали каждого грузинского поэта в личность значительную, жизнь которой сама по себе исполнялась поэзией.

Все мы видим, как велико предназначение поэзии сегодня. Нередко на различных участках нашей жизнедеятельности мы жалуемся, что нам не хватает чего-то существенного, если можно так сказать, — точности точности, вернее — смысла точности или оправдания точности, что иначе можно назвать поэзией. Никогда прежде не думал человек так много о будущем.

Ныне почти со всех концов земли доносятся до нас голоса поэтов, которым драматический характер эпохи словно бы придает и сходное звучание. Поэты жаждут встать рядом друг с другом. Говоря о сходстве, я, разумеется, вовсе не имею в виду тот факт, что существует — и мы часто становимся свидетелями этого — миграция караванов поэтических настроений, образов, символов, ритмов, метафор из одной страны в другую.

Когда человек пытается сделать нечто такое, что может принести пользу не одному ему или — еще лучше, — окажется для другого более полезным и благотворным, чем для него самого, то он уже становится личностью, а первейшим признаком личности является то, что она принадлежит поэзии в самом высоком и широком смысле этого слова.

Поэзия как искусство вообще гармонична. Постольку она несет с собой успокоение, утешение. Она присуща природе человека, который не так уж давно выделился из стихии и за-

нимает место природы, или, иначе говоря, лишает инстинкты волчьих клыков. Это не означает, будто поэзия противопоставляет друг другу разум и природу. Наоборот, она способствует их сближению, соединению. Она зажигает костер именно на месте свидания природы и разума. В то же время это не означает того, будто поэзия — нечто нежное, беспомощное, воздушное. Ни на одну дорогу не проливалось столько крови и слез, как на тропинки, пролегающие во владениях этого крылатого и гармоничного существа.

Поэзия говорит языком стиха (не имеет значения какого — рифмованного, белого или верлибра). Однако, сказав, что стих — это единственный язык поэзии, мы тем самым несомненно принизим значение поэзии. Поэзия всюду, где есть человек. Можно сказать, что она — одно из определяющих человечности, усиливающих, выявляющих ее, основа человечности в человеке. Поэтому когда ты трудишься, когда любишь, когда делишься с другим человеком последним куском, когда протягиваешь попавшему в трясину руку помощи, ты совершаешь величайший поэтический акт. Мы можем не видеть поэзии, но чувствовать ее — обязаны. Наука о поэзии причисляется к предметам, объект изучения которых даже трудно представить себе физически. Они существуют только на вере, что такой объект (и в том, и в другом случае — божественный феномен!) воистину существует всюду и во всем. Доказать это, помимо всего, возможно и тем, что он преобразует, изменяет нашу природу, пробуждает и побуждает нашу волю на деяние добра.

Стих — это тот заколдованный лоскут пространства, попав в которое слово обретает свой первоначальный смысл и значение, а в комбинации с другими словами создает мыслительные мелодии, или, пользуясь словами Германа Гессе, «звуковые видения». Возьмем слово «пермкртали» — бледный, бледнолицый, лишенный красок, использованное Галактионом Табидзе в таком контексте: «Как бледный заговор повстанцев». Сколь глубокими и многообразными нюансами обогащает оно фразу, сколь ясное и четкое впечатление производит на читателя. В пьесе Жана Ануйя Креонт обращается к Антигоне: «Я часто представлял себе такой разговор с каким-нибудь бледным юношей, который попытается меня убить...» (Жан Ануйя, «Пьесы», т. I, «Антигона», с. 312, М., «Искусство», 1969 г.).

Каждое слово в стихе — это целая вселенная, в каждой метафоре, даже в каждом слове поэта проглядывает история



или современная жизнь народа. Некоторые слова — капля крови или слезинка целых поколений, или более того — эпохи, в безграничных и неисчерпаемых глубинах которой отражается реальный момент действительности, обычай, нравы, уровень культуры и цивилизации. Вот, к примеру, грузинское слово «утипари», означающее: наглец, человек, лишенный каких бы то ни было моральных правил и устоев. На мой взгляд, оно происходит от корня «твипари» — клеймо, знак с добавлением отрицательного префикса «у». Возможно, некогда это слово означало — неклеименный, лишенный тавра скот. И в то же время — нечто чужое, дикое: неклеименный конь — дикий конь. Постепенно, обретая другое синонимическое значение, слово это приобрело и такой смысл: невоспитанный, неотесанный человек; антоним его — «натипи», что значило: меченный тавром, клеймом, т. е. одомашненный и прирученный, стал пониматься как нечто хорошее, рафинированное, окультуренное.

Это слово в определенном смысле может свидетельствовать о социальном прогрессе и высокой культуре нашего народа, а также о том, что цивилизация для него издревле воспринималась как осознанная необходимость.

Стихотворений существует столько, сколько у него читателей. Именно в этом и состоит величие поэзии: очаровывая всех, она в то же самое время принадлежит одному, и этот один, единоличный обладатель такого огромного сокровища, не только богат, но и счастлив! Это редкое и столь трудно достижимое состояние души дает нам возможность хоть на мгновение проникнуть в суть тех закономерностей, которые в нас по нашему же собственному небрежению и недосмотру нарушены и к которым мы всегда и постоянно стремимся (ностальгия по гармонии!), именно поэтому так сильно воздействие на нас стиха или музыки, что через них, при их помощи и воздействии постигаем мы гармонию вселенной.

Стих и музыка являются плодом искреннего, непосредственного, чистого чувства, поэтому и дают они нам смелость ставить актуальные вопросы перед природой, постоянно интересоваться, волноваться, вдохновляться жизнью. Француз Андре Мальро сказал: «Главное не в том, чтобы на все отыскались ответы, а в том, чтобы не иссякли вопросы».

Ребенок спрашивает отца, почему небо голубое? А отец, возможно, никогда не задумывался над этим, во всяком случае, с тех самых времен, когда сам был ребенком. Разве у него есть время на какие-то досужие вопросы? Он заглатывал

заранее заготовленные, словно бутерброды, ответы из автоматов, которые жизнь на каждом шагу расставила для него, подобно капканам и ловушкам, и, представьте себе, это оказалось даже удобным. Попробуй после этого ответить на вопрос: почему небо голубое? Да к тому же это остроумное и безжалостное маленькое существо знает, почему небо голубое, и теперь испытывает тебя, а знаешь ли это и ты, помнишь ли и можешь ли вспомнить, что ты все еще и сам — ребенок!

Наука, разумеется, давным-давно установила, почему небо голубое, однако в каком-то дальнем уголке нашего существа все еще сохраняется наше собственное, «детское» объяснение небесной голубизны, и в случае нужды, в случае большого несчастья или большой радости, оставаясь один на один с самими собой, мы смотрим на него, словно на материнскую фотографию времен ее молодости.

Корни стиха в таких представлениях, каждая строка в нем подобна спичке, вспыхнувшей в затемненном лабиринте памяти. Правда, при вспышке спички не очень уж много можно разглядеть, но то, что видишь, дорого для тебя, как плод твоих раздумий и мечтаний. Однако ты никак не сумеешь объяснить другому, почему это тебе так дорого. Возможно, повезет, и увиденное тобой лицо или ствол кипариса окажутся для другого столь же дорогими, как для тебя. И тогда смысл стихотворения, «пребывающий неразделимо, аки глас среди внемлющих», начинает действовать.

Поясняющих и толкующих сущность стиха великое множество, некоторые из них всемирно известны, другие пребывают в неизвестности, но пусть никто не обижается, если я скажу, что объяснение тайны, сокрытой в недрах стиха, невозможно хотя бы в силу того, что она, эта тайна, не может быть одной и той же для всех, обозначать для разных людей одно и то же.

Анна Ахматова говорила, что никакому Эйхенбауму не под силу объяснить привлекательность поэзии Пушкина. Разумеется, это не означает, что эйхенбаумы не нужны. Наоборот, мы связаны одной веревкой, как говорил Аполлинер, «веревкой, сплетенной из зова».

Если Эйхенбаум (один из лучших русских знатоков поэзии!), как это положено обыкновенному человеку, делает, скажем, из древесины мебель, то поэт из мебели создает дерево, и при этом его ремесло так же необходимо обыкновенному человеку, как ремесло ученого, врача, столяра, учителя, хлебопека или ткача. Даже, представьте себе, иногда еще в боль-

шей степени необходимо, и это вовсе не бросает тень на другие профессии, ибо нет ни одного рода человеческой деятельности, в которой не блистал бы луч поэзии.



Поэзия — искусство, и у нее есть свои строжайшие законы (я подразумеваю, конечно же, общие законы, а не установления и каноны какого-либо одного направления или школы). Не существует произведения, сколь абсурдным оно ни казалось бы на первый взгляд, не подчиняющегося этим законам, если только оно действительно принадлежит к истинной поэзии. В то же время эти законы претерпевают тысячи всевозможных изменений, и, хоть это весьма и весьма нелегко, мы тем не менее обязаны разглядеть их в идейных и художественных пластах произведения, тогда как бывали случаи, когда мы со всей серьезностью рассуждали о произведении, в то время как оно явно не имело ничего общего с искусством. Как это ни прискорбно, но подобные курьезы нередко случаются с нашими грузинскими критиками. Мы бывали свидетелями и того, что о самом произведении никто уже не помнил, а высказанные по его поводу критические рассуждения все еще звучали, словно звук колокольчика потерявшейся козы.

Существуют поэты и — рядом с ними, в том же творческом ареале — существуют легенды о поэтах, и именно благодаря легендам эти последние считаются гораздо лучшими поэтами, чем они есть на самом деле.

Есть в поэзии и такой путь, есть такие поэты (и не только у нас, конечно!), которые созданию легенд о своей жизни посвящают больше времени и энергии, чем собственно поэзии, в результате чего страдает поэзия, а сами они разве что на какое-то время удовлетворяют свое тщеславие и честолюбие. Это обстоятельство несомненно мешает исследователю верно представить конфигурацию творческих сил. Легенды, порожденные бедственной или бурливой жизнью того или иного поэта, с особой силой воздействуют на ту часть читателей, которых увлекают скорее сенсационные или мелодраматические сюжеты в поэзии, чем сама поэзия. Дело в том, что подобных любителей поэзии у нас все еще достаточно (и опять-таки: не только у нас!), и в силу своей многочисленности они оказывают определенное воздействие на нашу творческую волю. Самый плохой результат такого воздействия — когда его объектом становится талантливый критик. Мастерски доказанные и подтвержденные им консервативные или вульгар-

зиторские воззрения приобретают уже чуть ли не силу литературного закона.

Если мы хоть на минуту вообразим, что действительно знаем, что есть поэзия, то это тотчас породит множество различных вопросов, непосредственно связанных с поэзией, вернее, вопросов, которые, оказывается, связаны с поэзией, хоть мы и не подозреваем этого. К примеру, прежде мы непрослительно мало внимания уделяли верлибру, в силу чего он оказался вне круга кардинальных вопросов нашей поэзии. В последнее время в грузинской поэзии появились интересные образчики верлибра, которые, возможно, и не отличаются совершенством, но никак не заслуживают нашего невнимания и равнодушия. Необходимо еще раз окинуть взором неотъемлемую сокровищницу нашей литературы, возможно, среди других жемчужин мы сумеем обнаружить его первоисточник, родной корень.

Между прочим, должен сказать: как видно, человеку вообще свойственно приписывать появление отмеченных новизной и необычностью произведений исключительно зарубежным влияниям. Вспомним, с каким упорством пытались обнаружить влияние Байрона в «Евгении Онегине». Обеспокоенный Пушкин писал тогда Бестужеву, что он высоко ценит Байрона, но никакого влияния его в этой поэме нет. Вспомним нашего современника, автора нашумевшей книги Г. Маркеса, которого колумбийская пресса объявила эпигоном Фолкнера.

Как всякая подлинно великая литература в любые времена, наша литература готова и сейчас пересадить на свою почву все новое и ценное. Утверждать сегодня, что, поскольку наши предки не знали чая, цитрусов, картофеля, кукурузы, постольку и мы не должны их выращивать, конечно же, значит вызвать лишь улыбку справедливого недоумения. Это будет не верностью традициям, а искаженным представлением о традиционности вообще.

В последнее время (имею в виду довольно большой отрезок времени — начиная с пятидесятых годов и вплоть до наших дней) грузинская поэзия несомненно достигла новых ка-



ественных высот, и это произошло не благодаря заслуге одного или двух поэтов (хотя и один поэт вполне может поднять поэзию на новую качественную высоту) или даже одного какого-либо поколения. Это явилось результатом развития всей грузинской литературы в целом. Синхронно совпали друг с другом потребности времени и творческая мысль. Классическая поэзия, которая в результате длительных стараний историков литературы стала представляться нам исключительно обительницей научно-исследовательских учреждений или участницей юбилейных вечеров, вновь возродилась к жизни в стихотворениях современных поэтов. Появилась уверенность в своих возможностях при решении литературных задач поистине большого масштаба, и это также произошло благодаря соиздательной и деятельной поддержке со стороны классики. Мы сумели соединить в едином творческом и целевом аспекте и в таком объединенном виде усвоили творчество трех гениев XX столетия — Нико Пиросманашвили, Захария Палиашвили и Галактиона Табидзе. В то же время на всем протяжении этих десятилетий мы были свидетелями и очевидцами многих смелых новаторских попыток, наши поэты пользовались многими головокружительными приемами стихосложения, которые в конечном итоге могли оказаться лишь многоликим однообразием. Однако в то же время никто не имел права, разумеется, принимать какие-то предупредительные меры, поскольку мы знали, что талант — это арсенал неомыслимых. И сегодня мы уже можем сказать, что некоторые из этих исканий увенчались безоговорочной победой, другие же мирно упокоились на кладбище недолговечных экспериментов. Победы удостоились по преимуществу те поэты, которые для достижения чуда избрали сложные, комплексные средства, когда, по словам Ван Гога, рисуется не рука, а жест.

На протяжении этого времени некоторые выдающиеся поэты сумели благодаря сверхчутким антеннам души уловить мелодию собственного бытия или ощутить его драматизм, достичь заветной цели каждого поэта — превратить собственную личность в несущую ось беспощадного механизма стиха. И нам предстал лик человеческий, живая картина его жизни, мы почувствовали тернистую мысль поэта, содрогнулись от «маленького пятнышка пара» на окошке одиночества.

Хотя следует сказать и то, что нередко мы с необычайной легкостью решали какую-либо сложную психологическую задачу, утверждая фамильярность, эмпиризм, поскольку это было гораздо легче, чем защитить законы поэзии, хотели во что бы то ни стало вырядиться в модные и красивые одежды, и это, конечно же, было вызвано бедностью того, что мы собирались высказать, та же как богатый человек меньше стыдится выглядеть дурно одетым, чем бедняк. Помимо этого мы, без сомнения, нередко бывали в плену не у поэзии, а у поэтичности. Возможно, именно поэтому нам и казалось, что наша поэзия утратила медитативный тон.

За это время видели мы и поэтов, потерпевших поражение в единоборстве с поэзией, и, должен сказать, редко кто вызывает жалость большую, чем они. Поэзия быстро и безжалостно разжалует подобных людей — от поэта до рядового литератора, служащего по ведомству художественной словесности. Вина за это возлагается не на поэзию, а на поэта и только на поэта, поскольку одно дело — талант, а другое — способность использовать его. Такие поэты почему-то напоминают мне седовласых юнцов, навечно застрявших в мутационном периоде. И это потому, что они до конца своих дней так и остались в плену у простодушных импульсов творческого отрочества.

Если попытаться представить весь путь нашей поэзии ретроспективно, то увидим, что в грузинском стихе нашла отражение поразительная гармоничность крайностей человеческой природы. Грузинский стих сумел уловить и навеки воплотить в отлитых и отчеканенных, твердых и блистательных метафорах тысячи оттенков движения человеческой души, тысячи звуков и красок, претворив их в необходимый элемент человеческого познания, того самого познания, которое нужно человеку для постижения самого себя. Те личностные штрихи и приметы, которые — вольно или невольно — оставили многие и многие прославленные мастера поэзии на стенах подземных пещер грузинского стиха, подтверждают мысль, что человек, постичь и навечно утвердить которого жаждет поэзия, является и всеильным, и слабым, и разумным, и безрассудным, и жестоким, и мягкосердечным, и щедрым, и скупым, и веселым, и грустным, порою «возносящим хулу жизни», однако, тем не менее, воспевающим всепобеждающее могущество жизни и верящим в ее вечность и непреходящесть.

В наиболее важные моменты своего повседневного существования человек обычно вспоминает слова самого любимого и дорогого для него поэта, словами поэта он несет надежду и утешение другим и в них же ищет бальзам облегчения для своей души. Поскольку каждый истинный поэт, даже живший двадцать столетий назад, — наш современник, ибо «то, что однажды оставило свой живой отпечаток в душе», является достоянием вечности. Поэт в бессонных бдениях проводит дни и ночи у колыбели, в которой возрастают лучшие человеческие чувства и качества — любовь, милосердие, дружба. Поэтому юбилей поэта* в большинстве случаев более необходимы для его потомства, чем для славы самих творцов, хотя бы такого, как Галактион Табидзе. Как известно, бессмертие — это нечто такое, к чему невозможно ничего более добавить и, конечно же, невозможно ничего отнять.

Юбилей поэта — испытание нашей собственной духовной сути, парад и смотр наших душевных сил.

Галактиону Табидзе не были чужды ни Слава, ни Счастье, однако и то, и другое для него существовало врозь, поэтому и Слава его, и Счастье были странными, необычными. Правда, поэт называл свой венок «полным листьев невесомых», однако книга его открывала нам ту тайну, что самым тяжелым на свете является лавровый венок, который порой возлагают на чело поэтов.

Что же касается Счастья, оно для него вообще не существовало в настоящем, мыслилось как нечто идентичное будущему, во имя которого нужно было бороться, и он — боролся. Он любил это слово — борьба — искренне, а не с псевдопатетической страстностью, поскольку от рождения был новатором, говоря его словами — «ваятелем судьбы». И когда он говорил: «Встанем там, где бушует ураган», он воспринимал ураган как близкое существо, друга, брата, если угодно даже — как своего двойника. «Мой могущественный брат», — это его слова, обращенные к урагану.

Вчера ночью метался ветер,
И долго-долго не смог я уснуть.
У меня был дом и пристанище,
Но не было пристанища у урагана*.

* Здесь и далее перевод подстрочный.

Галактион Табидзе как поэт одержал самую большую победу тогда, когда дал пристанище в своей душе собственной мечте — буре, урагану! Ни одному современному грузинскому поэту не суждено было достичь такой душевной гармонии. Только после этого для него стала возможной такая замечательная фраза: «К груди своей я прижимаю лиру, как сам хочу!»

Для меня ясно как божий день,
Что обо мне скажет потомство!

Плодом каких мук и сомнений должны были стать эти слова и в то же время каким чистым лучом несгибаемой ни при каких обстоятельствах совести и чести они озарены. Вдумайтесь в эту фразу. В ней слышен отголосок какой-то гордыни, смешанной с радостью, однако это вполне законное чувство гордости отнюдь не походит ни на аристократическое высокомерие, ни на снобистское тщеславие виртуоза, как может показаться кое-кому, кто поверхностно знаком с жизнью и творчеством поэта. Я бы сказал, что это — своего рода грустный дар, который преподносит сам себе долго постившийся человек, мученик-пустынник, — маленький цветок в жестяной кружке...

В стихотворениях Галактиона Табидзе часто встречаются слова «пустыня», «пустошь», «голубовато-бархатистая пустыня». Да, подобная бархатистая пустыня существует в действительности, и имя ей — одиночество: «И вновь один я сам перед собой...». Пустыня в стихах Г. Табидзе присутствует в традиционном для грузинской поэзии понимании и вовсе не равнозначна спаленному солнцем, безжизненному, голому пространству. Пустыня — это место, где живут отшельники, приют одиночества. В этом смысле весьма знаменательно высказывание поэта: «Небесная пустыня» и такая фраза из другого стихотворения: «Сновидение словно обрело крылья от неба до неба!». Так что, по представлению поэта, существуют два неба, и одно из них — **небосвод нашей собственной души!**

Боль поэта взошла из льда одиночества. «Я одинок, как церковь в горах», — сказал он со свойственной ему точностью. Эта полная многомерных ассоциаций, содрогающая душу фраза подобна разрывной пуле, взрывающей глухоту наших душ.

Лирика Галактиона Табидзе — это одновременно величайшее эпическое сказание, сага, роман, или даже сюжетно оформленная повесть о любви, одиночестве, о конфликте и гар-



монии между человеком и эпохой. Это лирический роман, исполненный драматизма. Можно смело сказать, что ни один документ, ни одна хроника не передали с такой точностью многообразие нашего бытия, как творения этого лирика до века костей. Вот еще один парадокс поэзии!

Галактион Табидзе показал нам истинные возможности лирики.

Стих великого поэта, в силу своего совершенства, помимо первоначального своего назначения, литературной миссии, воздействует также и как музыка, поскольку обнаруживает в нас, возвращает к памяти ту гармонию, которая сегодня, в эпоху научно-технического прогресса, нарушена.

Поэтическое творение залечивает, заживляет те трещины и раны, которые оставляет на лице природы цивилизация во время своего неудержимого и победоносного шествия. Великий поэт показывает нам красоту человека, его мудрость и могущество. Человек знает, что не рожден для полета, и тем не менее ни одно крылатое существо не сравнится с его величавым парением, поскольку ему под силу летать не только в прямом смысле слова, но и мысленно, в своих «незасыпающих мечтах...».

Мы могли бы полностью распространить на самого Галактиона его слова: «Его любили, как надежду».

**О мечта, мой старый друг,
мы с тобой проводим бессонные ночи,
и много еще заздравных тостов
осталось у нас произнесенными...**

Так пело его исторгнувшее множество песен и именно поэтому ставшее бессмертным сердце, остановить которое уже не под силу было ничему и никому, кроме самого поэта... И когда это случилось, грузинский народ пережил гибель поэта, как стихийное бедствие.

**Только потому, что высока,
переламывается чинара, —**

сказал Галактион Табидзе. А это означало, что поэт сознавал не логику своей обреченности — это явно не вяжется с человеком, которому принадлежат и такие слова: «Благодарю тебя, боже, за то, что дал мне испытать борьбу!» — а свое истинное предназначение!

«Переламывается» — это слово доносится из недр его

поэзии так горько, так ритмично и постоянно, как из леса — стук топора.

Поэт тотчас поясняет единство судьбы — своей, а чинары:  3023110333

Как чинара — так и поэт,
для него высота — мучение...

«Мучение» — как величаво светится это слово в поэзии Галактиона Табидзе! Это мучение титана, прикованного к скале или замурованного в подземелье, взошедшего на костер или на баррикаду. «Слава рыцарям, принявшим мучение во имя народа!» — скажет поэт, и мы почувствуем, как велико для него мерило понятия «мучение», как замыкается магический круг: мучение — народ — свобода!

Душа так жаждала свободы,
Как стая раненых оленей —
чистого родника!

То, что говорит поэт, люди никогда до того не слышали. Музыкальный хребет стихотворения Галактиона Табидзе, так сказать, — сияющий поток музыкального электротока — проходит как бы через наше сердце. Здесь светится все — и луч, и всплеск, и цвет... Стихотворения Галактиона Табидзе наделены алогичной, точнее — необъяснимой привлекательностью. Так, например, совершенно необъяснимо и тем не менее ~~лю~~коряет нас, как музыка: «Дадга тетри дгееби, ридеебис сэзони, гачднен орхидееби, ковлад умизэзони» («Настали белые дни, сезон облачений, появились орхидеи, совершенно беспричинные»). Вот это «беспричинное» блаженство и головокружительный восторг сопутствуют каждой его строке, слову, даже звуку...

И все же, если мы попытаемся выявить причину наших восторгов, то есть захотим совершить невозможное, лучше всего вновь обратиться к словам поэта: «Подобные чувства могут создать только мучения...»

Неисчерпаема и неисчислима сокровищница поэта. Множество его мелодий, образов пока еще остаются вне досягаемости нашего слуха и зрения, существуют независимо от нас в его книгах, ждут своего часа, как затаившиеся в бархатном гнезде, глухо поблескивающие дуэльные пистолеты, изготовленные для одного-единственного точного выстрела. Эти мелодии и образы в сознании новых поколений начнут свою жизнь,

когда, как говорит поэт, к его памятнику придут дети с его книгами в руках...



Галактион Табидзе, как и всякий настоящий творец, определенном смысле — поэт будущего!

Острый глаз Галактиона Табидзе умел мгновенно выделить нужный предмет из хаоса остальных предметов, а потом этот предмет, перемещенный в стихотворение, мы уже не в силах узнать, поскольку никогда не видели его отдельно, как самостоятельный феномен, и смотрим на него в изумлении, догадываясь, какой самобытностью наделен каждый предмет вокруг нас.

Галактион Табидзе обладает даром великого творца: из традиционной обыденности создавать поэтическую необыкновенность. В его стихах из перезвона колоколов рождается новый звон, из дождей — новый дождь, и это непонятное, почти чудотворное деяние, подкрепленное аккомпанементом поющих красок, навеки соединяет, пробуждает дремавшие и забытые, до того творческие импульсы нашего существа, чтобы возродить в каждом из нас творца, напомнить человеку главнейшее его призвание: добавить к богатствам вселенной то, что может добавить он и только он, что добыто всей его жизнью, что принадлежало прежде только ему одному, а он даже не мог бы и подумать, что это может пригодиться еще кому-либо, и если он не поделится этим, то тем самым сделает беднее всю вселенную: в звезде будет меньше звездности, в росе — росности, в сердце — сердечности.

Фантазия поэта безгранична. Он может в своем воображении создать новую вселенную: «Я обнаружил целую Вселенную, дотоле неведомую миру!».

С поразительной свободой владеет поэт всем, что содержится в сокровищнице мировой поэзии. Еще одной особенностью его могучего таланта является то, что все прозаическое, даже натуралистическое преобразуется в его стихе в поэтическое чудо. Весьма интересно и то, что уже сами имена великих поэтов, художников, композиторов — к примеру, Алигьери, Веронезе, Вагнер и другие, — в его поэтическом мире приобретают значение метафоры, преобразуются в самостоятельные поэтические образы:

Я уйду в ветер, как Моцарт,
С легкими волнами песни в груди...

Поэт часто упоминает имя Гамлета. Его и впрямь мно-

гое роднит с ним — этим наиболее трагическим юношей, мировой литературы.



Ветра не видно, ветра не видно,
и все же вершины охвачены ветром...

Какая-то таинственная сила будоражит тела кипарисов, хотя погода покойна и неподвижна. И на этот раз в мире происходит что-то такое, что «вашей философии и не снилось». В поэзии Галактиона Табидзе атмосфера столь же напряжена и таинственна, как та ночь в бессмертной трагедии, когда появляется призрак.

При жизни белый лебедь
поет всего лишь раз... —

говорил поэт, и в этих строках весьма глубоко, неприметно для взгляда скрыта, но очевидна и наглядна для сердца, исполненного сочувствия и сострадания, боль, сожаление, даже зависть к лебедю, который поет только один раз — перед смертью, самому же поэту приходится на протяжении всей жизни петь, то есть — на протяжении всей жизни — умирать!

Но это лишь минута сожаления, мгновенная зависть. Выше я говорил, что он знал истинное свое значение. Знал он также и истинное свое предназначение. Песня и впрямь давалась ему ценою жизни...

Он претворил свою жизнь в песню, то есть из двух благ, дарованных ему природой — жизни и песни — он оставил себе только песню!

* * *

Настал день, когда достойные представители нашего поколения — я, разумеется, в данном случае имею в виду не одних писателей — вместе со всем грузинским народом отметили юбилей Галактиона Табидзе. Этот юбилей стал примечателен и тем, что, помимо еще одного проявления нашего безграничного уважения к поэту, явился и выражением благодарности, и, поскольку это так, надо попытаться объяснить, за что приносим мы свою благодарность этому бессмертному человеку.

Мы благодарим поэта прежде всего за то, что его поэзия была самой дорогой и близкой спутницей нашего отрочества,



юности и зрелости, сопредельной нашим тайнам, другом нашей жизни. Наша первая любовь училась своим первым словам по его поэзии, и в часы наших первых бед и испытаний мы находили надежду в его стихотворениях... Великая его фраза: «Да будут наши души чище, чем снег» превратилась в первый параграф неписаного духовного кодекса не только нашего поколения, но всего грузинского народа, кодекса, который помог преодолеть немало препятствий и трудностей.

Галактион Табидзе задал ритм, в котором бились наши сердца. Сначала робко и нерешительно, а потом все более и более смело подстраивались мы мыслью к его мысли, мечтой к его мечте и сердцем к его поразительно учащенному сердцебиению. Он жаждал всего сразу, тотчас же, немедленно: и любви, и самозабвения, и свободы, и будущего, и знамен. Его нетерпение — это страсть благородного юноши, преклоняющего колена перед нежностью и беззащитностью, но гордо подставляющего грудь пулям палача.

Ни один художник двадцатого столетия не оказал такого воздействия на мир наших эмоций, как этот поэт. Можно сказать, что его деятельность была великим актом духовного донорства.

Галактион Табидзе был Поэтом и был Великим. В этих двух словах уместается вся его биография, кажущаяся, в силу этого, простой и понятной. Однако, когда наша мысль, им же самим побуждаемая к смелости и вдохновению, проникает в бескрайние пространства этих двух спаянных между собой огненных сфер или бездонных пропастей, она, как пораженная молнией, замирает у того предела, за которым доносится до нас крик последнего паровоза и виднеется ствол чинары, переломившейся от собственной высоты.

Личная драма Галактиона Табидзе существовала на самом деле. Мы не были бы искренни перед его тенью, возвышающейся над нами в ожидании, что скажет о нем последующее поколение, если бы не отметили этого. Существовала хотя бы в силу того, что он был истинно талантливым поэтом, а талант и боль — неразлучные близнецы. Однако эта драма гораздо более глубока для того, чтобы ее объяснять всего лишь каким-либо трагическим событием из биографии поэта.

Галактион Табидзе никогда не испытывал недостатка в славе и признании, он с юности носил венец короля поэтов, однако этот венец, так же как и прежним его обладателям, хотя бы Акакию Церетели, в силу какой-то таинственной за-

кономерности не приносил ничего, кроме боли и мучений. Он явно не принадлежал к числу поэтов счастливых, беззаботных, довольных своим уделом, если только подобные стихослагатели вообще вправе именоваться поэтами. Но зато, или, возможно, именно в силу этого, его поэзия приносила счастье другим — в самом деле, нельзя подыскать другого слова для выражения того чувства, которое охватывает нас при чтении его стихотворений.

Счастье никогда не было абстрактным понятием для поэта, в его сознании оно — как река к реке, звезда к звезде, сердце к сердцу — сливалось и соединялось с Будущим.. Всепроникающая мечта поэта сотворила нечто поразительное — географию времени, определяемого одним-единственным ориентиром — Вечностью! В недрах его поэзии и впрямь подобно костру пылает величественная мысль: самой большой победой человека над стихией является то, что он, биологически обыкновенное, смертное существо, сумел создать понятие бессмертия. Мы говорили об одиночестве поэта, и небезосновательно, и все же, если бог велик своим одиночеством, то величие человека — в связи, единении с другим человеком, со своим народом, со всем человечеством, и сколь бы божественным ни представлялся нам гений, как бы одиноко он скитался он, подобно летучему голландцу, в океане человеческого равнодушия, он несчастен, если не сможет испытать свою долю меда или яда из той же самой чаши, из которой пьет свою сладость и горечь простой труженик, утомленный повседневным трудом.

То, что он был величав и одинок, чувствовали все, даже те, кто только знал его имя и фамилию или просто встречался с ним на улице, или видел его фотографию, не прочитав ни одного стихотворения. Таков счастливый парадокс поэзии. Народ чутьем отличает и принимает истинного поэта, защитника его мечты и выразителя его устремлений. Не было случая, чтобы народ ошибся в своем выборе, хоть он и не может ошибиться: это ведь тот же защитный инстинкт, или, точнее — инстинкт охранения души! Ведь сам поэт сказал: «Слава рыцарям, принявшим мучение во имя народа!» и тем самым навеки связал свою судьбу, свой удел, свой «путь избавления» с народом. Он наделил народ своей мечтой, подобно крыльям, и помог ему заглянуть в грядущее, тем самым продолжив дело своего мудрого учителя и наставника Ильи Чавча.

вадзе, сказавшего: «Мы должны дать народу будущее!» И действительно, народ, для которого родина существует только в прошедшем времени, несчастен или даже вообще обречен на гибель. Родина, наряду с настоящим, является понятием будущего, завтрашнего дня. «Все уже было!» — причитает Экклезиаст. Но поэт упрямо стоит на своем: «Еще будет, о, многое еще будет!» Поэзия непредставима без ощущения Вечности.

Поэзия Галактиона Табидзе представляет собой празднество и торжество грузинского языка, она открывает еще одну тайну, погребенную в его глубинах. Творчество этого великого поэта естественно вышло из недр нашей классической литературы, и в то же время его «мечтающая корона», подобно антенне, улавливала все новейшие достижения мировой литературы и искусства, которые поэт смело укоренял в нашей литературной практике.

Будучи великим грузинским поэтом, Галактион Табидзе является и великим европейским поэтом, что само по себе свидетельствует о возрождении и развитии наших древнейших литературных традиций, поскольку грузинская словесность с момента своего зарождения всегда была европейской.

Поэзия Галактиона Табидзе насыщена видениями, призраками, снами. Это реализм таинственного, кристаллизованного в реальных предметах — луче, звуке, краске...

Поэзия Галактиона — это песня, которую одновременно запевают в душе человека Поэт, Художник и Музыкант, или напоминание о том, что «Слово было богом». Только цветовому слуху и музыкальному взору поэта под силу преобразовать геометрию однообразия в прекраснейшее обиталище человека.

Предмет, увиденный поэтом, словно вовсе не существовал до того и только теперь, в данную минуту, при взгляде на него появился на свет, омытый рассветной росой жизни. Мы ощущаем и то, что все вокруг нас, оказывается, составляет неотъемлемую частицу нашей души: известковый родник, смешная ива, хохочущая свекла, расцветший голубизной вечер, звякающий омнибус, «взбаламученный ветер»... Вот ночь революционной Москвы: «Фантастическое древо с огненными ветвями». Вот комната кормилицы, описание которой является для меня подлинным чудом поэтического слова: «Верба, молитвенник, зеркало, часы... В зеркале опадают снегом белые волосы». Подобное восприятие окружающего мира поэтом,

помимо всего прочего, сыграло свою роль в развитии и современной грузинской прозы..

Чем глубже проникаем мы в музыкальные лабиринты его поэзии, тем яснее понимаем, или, вернее говоря, поэт дает нам возможность понять его самую острую боль: «Везде и на каждом погребена невидимая частица моей души». И действительно, он словно бы постоянно ищет рассыпанные, как после столкновения судна со скалой, частицы своего разбитого существа. Он мечтает вновь воссоединить в одно целое свою душу и в то же самое время знает, что никогда не сможет воссоединить того, что по собственной воле и желанию с такой samozабвенностью раздал другим — щедро, не отмеряя, не сожалея, рассыпал и развеял вокруг, чтобы взамен скоропроходящего мгновения бытия получить «славу вечную»! О, как боялся он этого скоропроходящего мгновения бытия, рутины, монотонности: «Я боюсь подобного существования, которое так походит на смерть и еще хуже нее!».

Перед смертью поэт, ставший недосыгаемым эталоном для эстетов, образцом для виртуозов и неразрешимой загадкой для интеллектуалов, сказал нечто, казалось бы, совершенно неожиданное: «Я люблю все простое!» И тем самым он лучше всего определил главнейшую примету и особенность своей поэзии: величие простоты! И раскрылись крылья для полета! Нет, то были не крылья юного Икара, это — крылья мудрого старого поэта, старого предвозвестника, который предсказывал только потому, что даже не знал о существовании иных времен, кроме будущего. Это были крылья человека, который, познав все на этом свете, испытал на себе боль от ран, нанесенных ему всеми существующими в нашем мире стрелами, возжаждал узнать то, что недоступно простым смертным, то, что он так долго лелеял в душе под факелом и хлебом мечты, — это было Будущее.

Сейчас он покоится вблизи от боготворимой им троицы — Ильи Чавчавадзе, Акакия Церетели, Важа Пшавела, — и грузинская луна лежит на его груди, как знамя или как наивысшее отличие и награда Родины..

Вот коротко то, ради чего приносим мы сегодня свою благодарность этому великолепному поэту, вот то, из-за чего «называют Грузию краем поэтов»!

ПОЭЗИЯ И МОЛОДЫЕ ПОЭТЫ



ИЗ ОКНА комнаты гостиницы «Амбассадор» видны были только пражские крыши.

Я распахнул окно.

Это был мой первый день в Праге. Точнее — первое утро. Как будто кто-то разбудил меня и заставил встать с постели.

Колокольни...

Черепица...

Крашеная жезть...

Желтое... Зеленое... Серое...

Флюгера — как железные птицы, — словно на мгновение присели на крыши, чтобы тотчас улететь куда-то.

Потом я услышал голос: в доме напротив пела маленькая девочка. Вот кто, оказывается, разбудил меня!

Как видно, девочка не знала слов песни:

— А-а-а-а!

Голос девочки метался в бессмысленной клетке одной-единственной гласной, словно зовя кого-то, моля о чем-то, однако не сознавая ясно и до конца, кого и о чем.

В поэзии слышится именно этот зов, который в сумятице повседневности не доходит до нашего слуха. Это — поиски одним человеком другого, бесконечные, полные тоски и мучений. И в то же время вечные, как огонь, обжигающий адамону глину. Вспоминаются строки одной чешской песни:

Мне так хочется встать в растворенной двери

И громко запеть для всех.

Ничего не требую от вас взамен,

Только выслушайте меня.

Человеку необходимо, чтобы его слышали. Это одна из острейших потребностей души. Он знает, что самое тяжелое на этом свете — одиночество. Бесчисленное множество нюансов человеческого голоса с явственностью музыкального звука слышится в стихе. Тоска, грусть, радость, стелание, мольба — звуки, которыми человек наполняет Вселенную, в стихотворении, которое есть не что иное, как изваяние человеческого голоса, он приобщается к вечности и становится более стойким, чем железо и камень. Древнеегипетская «книга покойных», этот переживший столетия плач, воздействовала и воздействует на человека так же, как пирамиды.

Писать о поэзии чрезвычайно трудно, так как при этом невозможно избежать субъективизма. Даниэль Дефо говорил, что сколько бы денег ни было у человека, он все равно получает от них ровно столько удовольствия и пользы, сколько ему причитается. Точно так же и поэзия: люди получают от нее весьма различную пользу и удовольствие. В конечном счете от поэзии можно получить лишь то, что ты сам же привнес в нее, поскольку без тебя она не существует вовсе!

Каждое поколение представляет поэзию так, как оно ее понимает. Иногда это совпадает с представлениями предшествующих поколений, иногда — противопоставляется им.

Сейчас в Грузии успешно трудится и творит новое поколение поэтов. Когда эти поэты были детьми, во всем мире еще бушевала война. Играя в войну, они подражали действительности, поскольку их игры были порождены настоящей войной. Они жили в голоде и холоде и тем не менее с утра до поздней ночи играли без усталости в войну, ибо это уже была не игра. Победа в детском восприятии была связана с хлебом, теплом, возвратившимися отцами и светом. Таков был смысл их игр, а значит — воевали и они. Сегодня, глядя на игры детей, я радуюсь, потому что это истинная игра, а не сражение.

Во времена Парижской коммуны дети, играя, умирали на баррикадах. Они переходили из мира мечтаний к действительности, не замечая этого, не успевая осознать и осмыслить пропасть, разделяющую два этих мира. Это поколение грузинских поэтов, подобно поэтам, их ровесникам, из других стран, можно сказать, вообще не знало детства. И это ощущается в их поэзии — тоска по детству!

Поколение поэтов, о котором я говорю, рано поняло, что между действительностью и мечтой проложен один-единственный мост, и этот мост — поэзия, помогающая нам пройти над пропастью и, постольку, являющаяся гуманной по своему призванию. Именно гуманизм является движущей силой творчества молодых грузинских поэтов.

Новому поколению поэтов пришлось мужать в самую драматическую пору истории человечества, когда рушились или уже были повержены в прах все идолы и начали обнаруживаться новые, светлые, неизмеримо более демократические пути. Это не могло не оказать влияния на сознание молодых поэтов. И не удивительно поэтому, что они попытались глубже постичь душу человека. Это явление было предопределено самой жизнью, так как позабытые на какое-то время



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«СОЦДЕТСИЗДАТ»

мысль, грусть, радость обыкновенного человека отныне вновь обрели права гражданства.

Порой молодые поэты выглядят довольно странно и необычно, поскольку обращаются к весьма смелому экспериментаторству... И причина этой необычности, по моему убеждению, должна быть приписана не капризу этих поэтов, ее следует искать в недрах современной действительности.

В Карловых Варах, в санаторском концертном зале, мне случайно довелось услышать репетицию хора и оркестра маленьких мальчиков (биг-бит). Пели мальчики очень громко, словно старались очистить душу от звука вообще, освободиться от той магической субстанции, которая зовется человеческим голосом.

А может, они пытались своими острыми, как гвозди, фразами прорвать нашу дремотность и равнодушие?

Я слушал их и думал, что, возможно, они лучше нас чувствуют современный регистр человеческого голоса... Должен признаться, многое было непонятно мне... Человек не должен выносить оценку и приговор какому-либо явлению только в зависимости от того, насколько оно понятно или нравится ему. Он непременно должен допускать, что, возможно (и наиболее вероятно!), он не в состоянии постичь суть явления и поэтому не может определить его значение. Если бы человек мог признать свою некомпетентность в тех или иных вопросах, это принесло бы человечеству много блага на отдельных этапах его развития...

Немало роковых ошибок, допущенных человечеством в прошлом, явилось исключительно результатом непонимания. Так, к примеру, дали погибнуть в одиночестве Николозу Бараташвили...

Может быть, сравнение с этим великим поэтом — чрезмерная честь для маленьких музыкантов, однако я невольно вспоминаю слова американского дирижера Леопольда Стаковского: «В каждом человеке спит Моцарт».

В творчестве молодых поэтов еще много неопределенного в виде неких поэтических негативов, иногда кажется, что, хоть мелодия уже существует, слова еще не родились («А-а-а!»). Однако среди молодых есть поэты, чье творчество уже носит самобытный и весьма интересный характер...

Истинная поэзия существует и пребудет вечно!

ПИСЬМА ВАН ГОГА



ЖИЗНЬ и творчество Винсента Ван Гога (1853-1890) на сегодняшний день изучены столь скрупулезно, что почти неммыслимо сказать что-либо новое после тех бесчисленных очерков, критических статей, эссе, монографий, романов, кинофильмов и телепостановок, в которых реальная жизнь или мифы о художнике подробным образом охарактеризованы, разобраны и пересказаны.

Что и говорить, не все из авторов в равной мере добросовестно и ответственно отнеслись к этой поистине соблазнительной теме, некоторые из них предлагали нам почти абсурдные ситуации из жизни художника, и без того сложной и запутанной. В то же время наивно было бы думать, что в наш век отношение к художнику или к искусству вообще радикально переменялось. В данном случае уместно вспомнить слова немецкого писателя Генриха Бёлля: «Фильмы по искусству в большинстве случаев создают люди, которые пожалели бы за картину Ван Гога пачку табаку, они дали бы Ван Гогу только полпачки, да и то горько раскисивалась бы, смекнув, что он согласился бы и на щепотку...» Распространять эти слова на всех без исключения киновеллетристов, конечно же, нельзя, было бы несправедливо предъявлять подобное обвинение всем подряд, однако следует признать, что в словах известного писателя звучит горькая правда.

Работы Ван Гога являются сегодня украшением прославленнейших музеев и частных коллекций мира. Поэтому сейчас нам даже невозможно вообразить, что столь яркое проявление таланта могло оставаться незамеченным для современников. Впрочем, в этом плане Ван Гог не был первым, да, по всей вероятности, и не последним.

При жизни художника было продано одно-единственное полотно («Красный виноградник»), была опубликована одна-единственная статья, посвященная его творчеству (Альбер Орье «Одинокие. Винсент Ван Гог» (1890 г.)). Она глубоко взволновала и тронула измученного одиночеством и дошедшего до крайности художника, хотя это отнюдь не помешало ему в письме к брату написать несколько иронических фраз относительно Орье и самого себя.

Так было на самом деле — это не выдумка беллетристов и кинорежиссеров. Этот «человек-мученик» с трудом прокладывал дорогу к людям. «Меня безжалостно довели бы до самоубийства», — писал он брату незадолго до того, как по-

кончить с собой. Народ же был для Ван Гога единством прекраснейших и неповторимых образов и характеров. Именно поэтому удары, наносимые ему равнодушием, грубостью, почти животным непониманием, оставляли в его сердце незаживающие раны.

Некоторые письма художника сегодня вызывают слезы на глазах, наполняют сердце сочувствием к нему, и в то же время нами владеет какая-то неопределенная, глухая грусть, долго не покидающая нас после прочтения книги его писем. Благодаря поразительному писательскому дару художника нам кажется, будто все, о чем он пишет, произошло только что и мы могли бы как-то помочь ему, по крайней мере выразить свое сочувствие, могли, но не сделали этого. Это алогичное, совершенно неоправданное чувство вины (ведь у нас есть твердое алиби — все происходило почти столетие назад!), словно червь, точит нам душу...

Большинство писем адресовано брату, Теодору Ван Гогу (1857—1891). Остальными адресатами были: младшая сестра Виллемина Ван Гог, английский художник Ливенс, французские живописцы Поль Гоген, Эмиль Бернар, Поль Синьяк, жена Тео — Иоганна Ван Гог-Бонгер, голландские художники Антон Ван Раппард и Иозеф Якоб Исааксон, французский художественный критик Альбер Орье.

Брату он писал не письма, а давал, можно сказать, ежедневный отчет, подробно рассказывая обо всем, чем он жил, что видел, о чем мечтал. Тем самым он делал брата соучастником своей жизни и творчества. «Я-то ведь без тебя и вообще ни на что не способен», — писал он в одном письме, а в другом месте добавлял: «Покамест я не нахожу, что мои картины стоят тех благ, которые ты мне предоставляешь. Но как только я сделаю подлинно хорошие вещи, станет ясно как день, что они созданы тобою не в меньшей степени, чем мною, что мы создали их вдвоем».

Первое чувство, овладевающее нами при чтении этих писем, собранных в одно целое, это чувство удивления перед творческой энергией их автора, которая с такой силой пробивается сквозь каждую строку. Это не письма в обычном понимании, это — бюллетень о состоянии души! Как активно надо жить, чтобы суметь написать хотя бы одно подобное письмо! Наверное, это возможно лишь при условии, когда воспринимаешь жизнь всем существом. «Чтобы сочинить книгу, совершить поступок, написать картину, в которых чувствовалась бы жизнь, нужно самому быть живым человеком».

Перед нами книга, написанная большим писателем. Не случайно особо отмечается его «двуязычие» (имеются в виду живопись и литература). Ван Гог обладал совершенным владением слова и талантом острого метафорического мышления. Его речь четка и выразительна, подобно рисунку. Вот, к примеру, что говорит он об английских художниках и писателях: «Я люблю их, поскольку они «деловиты, как утро понедельника»...

Он любил литературу так же, как изобразительное искусство. Писательство было для него органичной стихией. Это еще раз напоминает нам ту истину, что между литературой и искусством разве что только условно можно провести разделительную грань и что два этих бескрайних океана в своих глубинах сливаются, как страстные влюбленные, и передают друг другу жизненную энергию.

Гоген сказал о Ван Гогге, что Доде, Гонкуры и библия одинаково сжигали мозг этого голландца. А сам этот голландец размышлял о том, что между искусством и литературой есть несомненное родство: «В Шекспире есть нечто от Рембрандта, в Мишле — от Корреджо, в Викторе Гюго — от Делакруа, а в евангелии нечто от Рембрандта или в Рембрандте от евангелия». Примечательна и такая его фраза: «Я чувствовал связь, существующую между нашим цветом и музыкой Вагнера».

«Читал ли ты когда-нибудь биографию Лютера? — писал Ван Гог Вернару, — Кранах, Дюрер, Гольбейн — все от него». И действительно, Крахах, Дюрер, Гольбейн, так же как и многие другие художники, не могли бы появиться без интеллектуального толчка. И само творчество Ван Гога служит доказательством этого, что неоднократно отмечалось им в письмах. Та яростная, неутолимая жажда, «жадность» (слово Ван Гога!) при чтении литературы, вернее — не при чтении, а при вчитывании, слиянии, освоении ее, говорит об одной из характернейших черт этого художника, когда ему необходим был литературный (вообще — интеллектуальный) толчок, который преображал его жизнетворную фантазию в конкретную форму искусства.

В благодарственном письме, адресованном Орье, Ван Гог отмечает сходство между Монтичелли и Боккаччо. Тот же Орье считал Гогена родоначальником символизма в живописи, который переносил принципы символистской литературы в изобразительное искусство (Альбер Орье «Символизм в изобразительном искусстве. Поль Гоген». 1891 г.).

«Книги, искусство и действительность — для меня одно и то же», — говорил художник. Он неотрывно читал книги, даже в лазарете для душевнобольных. Именно там довелось ему прочесть книгу Шекспира, что он посчитал «божьей благодатью».

Письма Ван Гога по-грузински впервые были опубликованы в 1975 году в журнале «Сабчота хеловнеба» («Советское искусство»). Это была лишь малая часть, вернее — фрагменты из эпистолярного наследия французского периода. Как известно, творчество художника делится на голландский и французский периоды. Между ними столь большое различие, что можно подумать, будто картины голландского периода принадлежат одному художнику, а французского — другому. То же самое можно сказать и о письмах Ван Гога. Они тоже кажутся написанными двумя разными людьми, настолько различны в них сферы интересов, увлечения, настолько переменялось отношение к жизни. Вообще биография художника — это циклическая последовательность драматических метаморфоз: в недрах одного существа рождалось другое, совершенно не похожее на него, которое в то же самое время продолжало дело, начатое первым.

Жизнь, отраженная в письмах художника голландского периода, несравненно более бурная и волнующая. Юношеские увлечения мятежного художника порой становились причиной семейных раздоров. Молодой Винсент жил «жадно», с самоабвенностью узника, только что вырвавшегося из своей темницы. Он всего хочет достичь сразу, однако пока еще не знает, что ему необходимо на самом деле. Еще далеко до того времени, когда измученный и израненный жизнью, он скажет: «Для того чтобы жить, надо жить». Мы были бы близки к истине, сказав, что пока еще он не живет, а вращается вокруг жизни, не умея проникнуть внутрь жизненного круга, ушибаясь о его стену (в одном из писем у него есть фраза: «глухая стена, беленная известкой...»).

Голландский период — это наполненная поисками и увлечениями, болезненная и тревожная, но, по сравнению со вторым периодом, все же счастливая пора его жизни — «весенние страсти»! Правда, он уже ощущает прикосновение ледяных ладоней одиночества, но пока еще не видит его истинного лица.

В 1872 году младший приказчик гаагского художественного салона Винсент Ван Гог пишет первое письмо своему младшему брату Тео. Это первые строки великолепной кни-

ги и в то же самое время первый таинственный лучик, которому вскоре предстоит превратиться в прочный канат, скрепляющий их дружбу.

В 1873 году Винсента переводят в лондонский филиал фирмы. Службу художника приказчиком один исследователь справедливо расценил как время, научившее его не торговать картинами, а размышлять о картинах. Именно в Лондоне проявляется его неутомимый интерес к религии. Возможно, это объясняется и влиянием семьи, однако увлечение юноши настолько сильно, что воистину оказалось неожиданным и необычным для скромной семьи сельского священника. В 1876 году Ван Гог навсегда порывает с фирмой. Начинаются поиски своего места в жизни. Художник захвачен страстным желанием принести кому-нибудь какую-нибудь пользу. Отсюда — всего один шаг до идеи: сначала — учительства, а затем — и проповедничества. В это время самым почетным и уважаемым призванием ему казалось миссионерство. По существу, он остался миссионером до конца жизни, проповедуя своей живописью идеи добра.

В 1877 году Ван Гог принимает решение поступить на богословский факультет Амстердамского университета. Со свойственной ему увлеченностью он даже приступил к подготовке, однако желание приносить практическую пользу взяло верх. Он поступает в миссионерскую школу поблизости от Брюсселя. Выдержав всего три месяца надоедливые наставления учителей, он бросает все и отправляется в Боринаж миссионером. Его близким кажется, что он ничего не может довести до конца, однако дело в том, что становление его как личности опережало процесс приобретения знаний. Поэтому у него довольно быстро пропадал интерес к какому-либо конкретному предмету или явлению. Вместе с тем нельзя забывать и о том, что он обладал поразительной способностью овладеть предметом, и поэтому, несмотря на бурную и противоречивую жизнь художника, продлившуюся так недолго, вовсе не удивительна та высокая образованность, которая проявляется и в его переписке.

В 1879 году он получил место проповедника евангелия в Ваме, но уже через несколько месяцев его увольняют и с этого места. Увольняют по весьма курьезной причине: за чрезмерную любовь к ближнему, и не только к ближнему — за превысившую все мыслимые пределы любовь к всевышнему. Разумеется, ортодоксальной церковью подобная страсть должна была восприниматься как синоним дерзости. Так и

получилось. Ему запретили то, к чему он стремился всем своим существом, — миссионерство и проповедничество, хотя они ничего не приносили ему, кроме непонимания и ненависти окружающих. Ненависть — в ответ на бескорыстное служение и добродетельность.

О миссионерстве он мечтал, можно сказать, с юношеских лет. Говоря его же словами, жаждал принести свет пребывающим во тьме. «Так кто же больше всего нуждается в этом свете, кто наиболее восприимчив к нему? Опыт показывает, что тех, кто работает во тьме, в черных недрах земли, как, например, землекопов, глубоко захватывают слова евангелия и что они верят в них».

В Боринаже, центре угледобычи на юге Бельгии, он читал шахтерам библию, и не только ее, он делил с ними их бескрайнюю нужду, ухаживал за детьми, проводил часы у постели заболевших («лучше всего проникаешься сутью любви, сидя у постели недужного»). Ему казалось, что он приносит хоть кому-нибудь помощь и облегчение. Именно в этот период он превратился, как сам говорил, в «другого человека».

В 1881 году он отправляется в Гаагу и начинает обучение у известного живописца Антона Маувэ. Это имя часто будет встречаться в его письмах.

В Гааге, потеряв рассудок от несчастной любви (со свойственной ему неуправляемой страстью влюбился он в свою родственницу, вдову, которая избегала его, скрывалась от него, словно даже боялась его), он берет в жены Кристину (Сину), уличную девку, которая вдобавок ко всему оказалась еще и беременной. Художнику представлялось, что так успех и противоестественно созданная семья могла стать для него тихой гаванью. Он жаждет вернуть к нормальной человеческой жизни женщину, в которую, как ему казалось, он влюблен, вернее — убеждал себя в том, что дело обстоит именно так. Такое вынужденное положение, созданное им же самим, помогает ему забыть или, в лучшем случае, не думать о своей истинной любви, поскольку даже мысль о ней приносила неопишуемые страдания. Письма, в которых повествуется о его совместной жизни с Кристиной, написаны пером, достойным Диккенса. В конце концов, как и следовало ожидать, это само по себе весьма благородное намерение Винсента — вытащить человека из трясины — завершилось крахом. Кристина сама отвергла его чувство, которое, если говорить откровенно, носило скорее оттенок благотворительно-

сти, чем подлинной любви... Естественно, родственники и друзья отвернулись от Винсента, его поступок означал нарушение всех принятых в этом обществе этических норм. Но к тому же этот странный и необъяснимый поступок художника был воспринят всеми как некий вызов. Винсент вновь остается в одиночестве. Даже писем к Тео он не писал целых девять месяцев.

Наивное юношеское увлечение кончилось. В это время он часто упоминает Иисуса Христа. Его образ постоянно стоит перед глазами, однако не облаченный в мистическую оболочку лик сына божьего, а лицо страдающего человека, который, говоря словами художника, «любил людей и мир больше, чем они того заслуживают». Ван Гог и себя называл «страдающим человеком».

Верил ли он в бога до конца? Если немного опередить события и судить по письмам французского периода, увидим, что его вера явно утратила прежнюю страстность. О чем же в таком случае должна говорить такая фраза: «Виктор Гюго говорит: бог — это мигающий маяк, который то вспыхивает, то гаснет; сейчас мы несомненно переживаем такое мгновение, когда он погас». Вообще в этот период он уже очень редко говорит о боге, всего несколько раз упоминает Христа. Этот образ до самого конца волнует его в силу какого-то таинственного с ним сходства. «Христос — единственный из философов... кто утверждал, как главную истину, вечность жизни, бесконечность времени, небытие смерти, ясность духа и самопожертвование как необходимое условие и оправдание существования». Его отношение к Христу, можно сказать, литературно, а в некоторых случаях — философично. Образ Христа привлекал его непреклонной преданностью идее и способностью к животворящей деятельности. Вместе с тем Христос для него был, говоря словами Альбера Орье, «одиноким!» Ван Гог рисует Христа в Гефсиманском саду — грустного, утомленного, даже растерянного.

В французский период своего творчества Ван Гог смотрел на религию, как и на все остальное, практическим взглядом, насколько она могла быть использована для его главного призвания — совершенствования в искусстве.

26 февраля 1886 года Ван Гог переезжает из Антверпена в Париж. Здесь при содействии брата, который, по словам Джона Ревалда, «был застенчивым, замкнутым человеком, одним из тех немногих, кто обладал достаточным умом, чтобы понимать новые тенденции времени, находить безве-

стные или непризнанные таланты и сообщать о своих открытиях всем, с кем он встречался», — знакомится с новым направлением искусства — импрессионизмом, и здесь же начинается новый период в его жизни — французский период, который в нескольких голых датах выглядит так:

21 февраля 1888 года Ван Гог приезжает в Арль;

С мая 1889 по май 1890 года — лазарет для душевнобольных в Сан-Ремо;

В январе 1890 года — первая рецензия на его творчество, автором которой был Альбер Орье;

14 февраля 1890 года с выставки «Группы двадцати» была продана его картина «Красный виноградник»;

21 февраля 1890 года он переезжает в Овер;

27 июля 1890 года выстрелом из револьвера смертельно ранит себя;

29 июля 1890 года — умирает. При его кончине присутствует Тео, вызванный врачом Гаше. Винсент, увидев брата, говорит: «Не плачь, так будет лучше для всех».

Гоген писал: «Он выстрелил себе в живот, но скончался лишь через несколько часов, сидя в постели, он курил трубку. Умирал он в абсолютно трезвом сознании, проникнутый любовью к своему искусству и не унося с собою ненависти ни к кому на свете».

Доде, любимый писатель Ван Гога, писал: «Ненависть — гнев слабых людей».

Он и впрямь умер в здравом уме и трезвой памяти. Перед смертью он смело мог повторить слова, ранее сказанные в письме брату: «Сейчас я более глубоко верую и люблю, чем раньше».

Похоронен он на оверском кладбище.

25 января 1891 года в Голландии скончался и Теодор Ван Гог — Тео.

В 1914 году прах Тео перенесли в Овер и захоронили рядом с братом.

Французский период начался с открытия искусства импрессионистов и японских художников. Для голландского художника это и впрямь был совершенно новый, сказочный мир. Джон Ревалд писал: «Ван Гог был охвачен жаром и смиренным верующего, который стал свидетелем чуда». Это новое искусство, с которым он совершенно неожиданно столкнулся на своем жизненном пути, для него стало поистине чудом, и это чудо покорило его сердце и разум сразу и навсегда.


«В Антверпене я даже не представлял себе, что такое

импрессионисты; теперь я познакомился с ними и, хотя не принадлежу к их клану, приведен в восторг вещами некоторых из них», — писал он Ливенсу. Благодаря своему исключительному таланту он сразу овладевает всем лучшим, чем обладали импрессионисты. Он не боялся влияний, поскольку был отважен и, к тому же, уверен в своих возможностях. В школе импрессионистов он не был пассивным и послушным учеником, наряду с восторгами нередко высказывал в их адрес и довольно суровые критические замечания. Можно со всей определенностью утверждать, что ни одна художественная школа, ни одно направление не оказали на него такого большого влияния, как импрессионизм. Хотя он впоследствии еще не раз повторит, что не принадлежал к рядам импрессионистов, однако факт, что этот голландец стал одной из самых ярких звезд французского импрессионизма.

В то же время Ван Гог сильнее всего захвачен японской живописью, изучает, анализирует, подражает, смело использует ее мотивы. Импрессионистов он именует «французскими японцами».

Только приехав в Арль, он писал: «Я чувствую себя прямо как в Японии». В этом небольшом городке на юге Франции, в этой маленькой «Японии», торжествует настоящий праздник цвета и красок: «Сильный порыв ветра разгоняет тучи в небе, и оно весело засветилось над красными крышами, омытыми дождем. Мы наблюдали возвращение процессии. Целый час продолжалось шествие кающихся в белых, синих, серых капюшонах, девушек, укрывшихся за вуалями. За ними несли розовые знамена, украшенные золотыми цветами, старинные иконы с выцветшей позолотой, каждую из которых несли, водрузив на плечи, по два человека. Фаянсовые богородицы, разукрашенные словно идола, с большими букетами цветов в руках; облачения, покрывала, зеленые бархатные накидки, распятия в белых шелковых рамках; все это колыхалось под ветром, освещенное светильниками и солнечным светом, под звуки псалмов, литаний и громкий перезвон колоколов». Автором этих строк, переведенных на грузинский язык Геронтием Кикодзе, является Альфонс Додде, уроженец этих же мест, сын Прованса. Этот отрывок поражает обилием и щедростью красок, невольно напоминая одну фразу из письма Ван Гога, написанного в Арле: «...Белое, желтое, розовое, розово-зеленое или даже изжелта-голубое облачение...»

— Правда, в одном из писем Винсент напишет брату: «Я



не нахожу здесь той южной веселости, о которой столько разглагольствует Доде», — но не следует забывать, что для него в это время уже вообще не существует веселости, развлечений, — период проживания в Провансе был временем полного одиночества художника. Это одиночество, которое прежде представлялось ему ужаснейшим наказанием («Одиночество... подобно тюрьме»), сейчас он уже сам выбрал для себя. Теперь невозможно обнаружить даже следа прежних бурных увлечений, юношеские страсти улеглись. Чем больше в его падитре появляется светлых красок, чем более солнечно-возбужденной становится его живопись, тем более бесцветной и серой становится личная жизнь художника. Место любви, игравшей в ней такую роковую роль, столь взволнованно и вдохновенно выражаемой художником, сейчас занимают ирония и сарказм. Он говорит: «Я заглядываю в публичные дома — ведь я неженатый человек». Теперь это уже совершенно другой человек. Редко, чтобы личность могла настолько преобразиться. Отныне для него существуют только краски и ничего более, а в этой «новой Японии» краски рассыпаны с такой щедростью. В этот период он мечтает создать рисунки, напоминающие гравюры японских художников. На арльский пейзаж он смотрит глазами японского художника. «Снежные пейзажи с белыми вершинами и сверкающим, как снег, небом на заднем плане походят на зимние ландшафты японских художников». Можно смело утверждать, что в данном случае он подразумевает рисунок Хокусаи. Хокусаи — один из самых дорогих и ценимых им наставников. «Попади я еще хоть на день в Париж, я, без сомнения, заглянул бы к Бингу, чтобы посмотреть рисунки Хокусаи и других художников великой эпохи», — писал он брату.

«Великая эпоха» — это эпоха ТокуГАВА (1603 — 1867), когда возродилась культура Укиооэ (укиооэ — современное, модное), прославленное искусство со множеством великолепных памятников, и в их числе в первую очередь следует упомянуть театр «Кабуки», а из поэтов достаточно назвать одного Басие Красу; гордость этой культуры представляют три великих художника: Утамаро (1753—1806), Хиросиги (1797—1858) и Хокусаи (1760—1849).

На могильном камне Хокусаи написано: «Великолепный художник, благородный человек». Этот и впрямь великолепный художник владел двумя языками: наряду с живописью писал стихи и рассказы, хорошо знал классическую китайскую и японскую литературу. Скончался Хокусаи в 89 лет.

Перед смертью художник сказал: «Если бы мне подарили десять или хотя бы пять лет, я в конце концов стал бы большим художником». Ван Гог же перед смертью в одном-единственном годе, однако, скромный по натуре (он писал Орье: «Уверяю Вас, роль, которую играл или буду играть я, всегда останется второстепенной»), добавил, что этот год нужен был ему для того, чтобы вообще заслужить право называться художником: «Еще, может быть, годик работы, и я обрету уверенность в себе как художник». Когда он произнес эти слова, им уже были созданы почти все лучшие его работы.

Спустя долгое время после смерти Ван Гога в рассказе замечательного японского писателя Акутагава Рюноске «Жизнь идиота», представляющем собой одно из блестящих творений мировой литературы, мелькнет образ великого голландского художника «с отрезанным ухом, с длинной трубкой в зубах». Видно, что японский писатель глубоко изучил творчество Ван Гога, глубоко и точно прочувствовал его основные тенденции. Вот что говорит он о своем герое, стоящем перед витриной книжного магазина и рассматривающем картины Ван Гога: «...Внезапно он понял, что такое живопись. Разумеется, это были лишь репродукции. Но и в репродукциях он почувствовал свежесть природы».

Ведь именно младенчество, свежесть природы хотел передать на своем полотне художник! Он ведь не создавал свои картины, а, говоря его же словами, «находил их в природе в завершенном виде». По его убеждению, художник должен добывать в лоне природы существующую в завершенной форме картину так же, как углекоп добывает уголь в шахте. Для него художник был таким же тружеником, как углекоп. Труд для Ван Гога был синонимом таланта. Трудолюбие он называл «второй молодостью». Он гордо заявлял: «Я — рабочий!». В то же время для Ван Гога неприемлем «точно соответствующий натуре колорит или рисунок», поскольку он знает, что они никогда не способны взволновать зрителя. Он ищет поэзию во всем, верит, что она на каждом шагу сопутствует нам, она вокруг нас повсюду, но перенести ее на бумагу или полотно, увы, гораздо труднее, чем наслаждаться этой поэзией. Дни и ночи упрямо, с упорством агнографического святого борется он с этой трудностью, превратив в цель своей жизни претворение рисунка в поэзию, стараясь тотчас зарисовать, зафиксировать, поймать, схватить любое проявление поэзии, чтобы сделать доступной для других ее, столь

необходимую для человеческого существования. Будучи истинным художником, он в то же время — и истинный поэт, владеющий словом точно так же, как рисунком, краской. Свои письма он обычно сопровождал рисунками, однако в тех же письмах мы встречаем и выразительные зарисовки природы, выполненные словами: «...лиловая земля, на заднем плане стена, стройные тополя и очень синее небо...»

Он творил в уединении. Французский период стал временем почти полной его изоляции от окружающего мира. Однако, как я уже говорил, это уединение, заключение в одиночной камере он сам избрал уделом для себя, поскольку, по существу, все на свете подчинил творчеству, принес ему в жертву, творчество для него стало смыслом существования. Поразительно, но всю свою жизнь он с нечеловеческой жесткостью запланировал, подсчитал каждую минуту, даже каждое мгновение, чтобы не потратить его впустую. Его существование отныне можно назвать жизнью лишь условно, на самом деле это всего лишь время, необходимое для завершения очередной картины, и ничего более! Даже в лазарете для душевнобольных он продолжает выполнять план, составленный им для себя. Спокойно и равнодушно упоминает он о случившихся с ним или возможных в будущем приступах, хотя каждый из них уносил значительную часть его жизни. «Помещение, где мы проводим дождливые дни, напоминает зал для пассажиров третьего класса на какой-нибудь захолустной станции, тем более, что здесь есть и почтенные сумасшедшие, которые постоянно носят шляпу, очки, трость и дорожный плащ, вроде как на морском курорте. Вот они-то и изображают пассажиров». С каким титаническим спокойствием написаны эти строки, как будто он сам не являлся обитателем этой «захолустной станции»! И вот он здесь думает о том, что «должен научиться работать лучше, чем раньше». Ему же принадлежит и следующее высказывание: «До сего дня я надеюсь, что работаю не для одного себя» и «мне хотелось бы сказать картинами нечто утешительное, как музыка». Какой твердостью духа должен обладать человек, находящийся в положении Ван Гога, чтобы произнести подобные слова.

В то же время его добровольное или принудительное одиночество усугубляется, постепенно лишая его тех опор, при помощи которых он еще мог противостоять ужасному заболеванию. Мир постепенно пустел для него. Это было самое страшное и подавляющее — опустевший мир, опустевшая

природа, опустошенные предметы... Мир без людей! Ничьи слова — страшное, трансцендентальное «одиночество» вещей и предметов. Эти предметы, словно выброшенные на берег обломки корабля, потерпевшего крушение, оставляли тяжелейшее впечатление, порождая чувство безысходного одиночества...

Пустое кафе...

Пустая комната...

Пустые лодки...

Постель.. Стул... Сапоги....

Хайдеггер говорил: «Сапоги» Ван Гога отличаются от тысяч подобных. Они претворены в нечто единственное и говорят вам о бытии». В застывшей поверхности этого безлюдного бытия отражается лик художника, собственноручно отрезавшего себе ухо.

В ранней молодости Ван Гог писал: «Дружба, братство, любовь — вот верховная сила, вот могущественные чары, отворяющие дверь темницы. Тот, кто этого лишен, мертв».

«Я счастлив, что люблю», — это написано в 1881 году и, можно сказать, является наивысшим аккордом его полных драматизма увлечений. Со временем любовь в его жизни исчезает без следа. Наиболее впечатляющим событием французского периода была дружба с Полем Гогеном, которая также завершилась полным крахом. Ван Гог сказал о Гогене: «Он очень большой художник и превосходный друг». Гоген в своей книге «Прежде и потом» пишет: «Я также многим обязан Ван Гогу». Не следует думать, будто в этих словах Гогена подразумевается творческое влияние. Оказывается, он обязан Ван Гогу, поскольку в периоды крайней нужды и бедствий мог утешать себя тем, что есть люди более несчастные, чем он сам. Однако циничная оболочка этих слов не в силах скрыть истинно человеческой боли и сострадания, проглядывающих сквозь колючие заросли равнодушия. В конце концов ведь именно Гогену принадлежат и эти слова: «Он проявлял ко мне величайшую нежность».

Таким образом, исчезла любовь, исчезла и дружба... Осталось лишь чувство братства, превратившееся для него в понятие более высокое, чем дружба и вообще все на свете, выражавшее абсолютную синхронность, симбиоз душ. Если в его личной жизни была хоть малая капелька везения и счастья, это, в первую очередь, огромная любовь младшего брата Тео, братское чувство, заставившее его воскликнуть: «Ведь я ничего не могу без тебя!» И эта книга писем, так же как



всякая значительная книга, учит нас, что более всего на свете человеку необходимы любовь, сочувствие, вера: когда человек верят, он способен совершить чудо.

Незадолго до смерти художник захотел повидать свои родные места. Это чувство, казалось, было неожиданным для него, ведь прежде он ни словом не вспоминал о Голландии. Если не ошибаюсь, он лишь однажды упомянул голландского писателя Мультиатули, когда в полном смысле этого слова наслаждался произведениями французских писателей. Однако, в то же время воспоминание о родине вовсе не было неожиданным, ностальгия в его душе зародилась почти тогда же, когда он вместо японцев и Монтичелли стал размышлять о Рембрандте, который для него был «едва приоткрытой дверцей в сверхчеловеческую беспредельность». Предсмертное стремление к родине было весьма болезненным. «Я убеждаюсь, — говорил он, — что возвращение на север безусловно необходимо для меня».

Как ни больно это говорить, но самоубийство Ван Гога представляется логическим завершением его недолгой жизни. Не сила воли изменила художнику, наоборот, надо было проявить немалую силу для того, чтобы самолично решить проблему — быть или не быть. Один японец в связи с самоубийством Акутагава сказал: «Важно, что Акутагава отнюдь не отвергал человеческую жизнь и жизнь вообще, он только утратил надежду на то, что сам сможет жить дальше». Эти слова можно было бы повторить и в отношении Ван Гога.

В одном из писем художник задавал вопрос: «Кончается ли все со смертью, нет ли после нее еще чего-то?» Ведь он сам же признавал и утверждал «вечность жизни, бесконечность времени, небытие смерти, ясность духа и самопожертвование как необходимое условие и оправдание существования».

Каждая строка, составляющая данную книгу, представляет собой плод горячего сердца и светлого разума. Со страниц этого сборника писем с нами ведет беседу интереснейшая личность, масштаб и значение которой неизмеримо больше, чем его художественное наследие, ибо Ван Гог был не только великим художником, а творцом, принявшим муку ради искусства, ради светлых человеческих идеалов вообще.

Перевел Э. ЕЛИГУЛАШВИЛИ



Бондо АРВЕЛАДЗЕ

ПОЭТ
И
ГРАЖДАНИН

◆

К 100-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВААНА ТЕРЬЯНА

В ОДНОМ из красивей-
ших уголков Грузии,
Джавахети, в селе Чандза,
расположенном между озера-
ми Тапаравани и Сагамо,
10 февраля 1885 года ро-
дился выдающийся армян-
ский поэт Ваан Сукиасович
Терьян (Тер-Григорян).

Начальное образование
В. Терьян получил в селе, за-
тем был отдан в ахалкалак-
скую русскую школу, по
окончании которой посту-
пил в тбилисское училище
Нерсисяна, где учился один
из его братьев—Арам Тер-
Григорян. Позже Арам Тер-
Григорян вспоминал, что в
гимназию маленького Ваана
готовил грузинский педагог
Окропир Хенцуриани. Поэт
всегда с благодарностью
вспоминал своего грузин-
ского педагога.

В 1899 году Ваан Терьян
экстерном сдал экзамены в
московскую гимназию при
Лазаревском институте и
был зачислен в третий класс.
В 1906 году, окончив Лазар-
евский институт, он посту-
пил на историко-филологиче-
ский факультет Московского
университета (отделение
русской филологии). Это бы-
ли годы первой русской ре-
волюции, когда русский про-
летариат дал первый бой са-
модержавию и его деспоти-
ческому режиму. Молодой

В. Терьян сочувствовал революционному движению и даже участвовал в нем, за что и был на какое-то время заключен под стражу. Как свидетельствуют материалы из архива бакинской жандармерии, в 1909 году Терьян посылал революционерке Марии Джапаридзе в Баку большевистскую литературу. Надо думать, Терьян поддерживал тесную связь и с социал-демократом Георгием Лордкипанидзе.

Позже, после Октябрьской революции, грузинское меньшевистское правительство припомнило Терьяну его большевистскую деятельность, и он постоянно находился под наблюдением.

По окончании Московского университета в 1913 году Терьян поступил в Петербургский университет на факультет восточных языков. Тут он изучал грузинский, персидский, арабский и другие языки. Курс лекций по грузинскому языку и грамматике он прослушал у Н. Марра, который считал его одним из лучших учеников.

Систематические длительные занятия и материальные затруднения подорвали его здоровье, он заболел туберкулезом. По совету врача поэт отправился на Кавказ подлечиться.

В этот период в Тбилиси и Ереване он читает курс лекций по армянскому языку и литературе. Перед отъездом из Еревана Ваан Терьян прочел свое замечательное стихотворение, в котором прощался с народом, словно предчувствуя, что никогда больше не увидит родину.

Всем, как брату и другу,
желаю счастья!

Утру — царице мира,
желаю счастья!

Ухожу, кружится голова и
заплетаются ноги,

Всем, кто остается, всем, каждому
желаю счастья!¹

В этот период Ваан Терьян познакомился с молодым грузинским писателем Ш. Алхазидзе, которому рассказал, как по совету врачей провел лето в родной деревне Гандзе в Джавахети. «Поблизости от него прекрасное озеро, которое называется Вечерним, — рассказывал Терьян. — Живительный воздух, жизнь на лоне природы благотворно повлияли на ме-

¹ Здесь и далее переводы стихов подстрочные.

ня, но болезнь по-прежнему не оставляла. Тогда отец сказал мне: поезжай в Ахалкалаки и повидайся там с заведующим аптекой пароном Ильей (парон по-армянски — уважительное обращение). Он так и сказал — заведующий вместо провизор. Так я и поступил. Парон Илья, т. е. ваш отец, заботливо выспросил меня обо всем и дал лекарство. Но откуда у меня были деньги на лекарство? Так я и сказал ему, что я бедный поэт, царапаю какие-то стихи, живу в деревне. Выслушав меня, он сказал, что дает лекарство бесплатно. Впоследствии я узнал, что Илья Алхазидзе — известный литератор, и тогда же послал ему по почте сборник своих стихов»².

Здоровый образ жизни, горный воздух и забота близких значительно улучшили здоровье Ваана Терьяна. Несмотря на болезнь, в этот период Терьян ведет большевистскую агитацию среди крестьян и солдат войсковых частей в Ахалкалаки.

Приближались грозные дни Октября. Отголоски предреволюционных бурь достигли и Кавказа. Терьян не может смириться со спокойной сельской жизнью. Чувствуя приближение значительных социальных перемен, он, несмотря на сопротивление родных, отправился в Петербург. Ему довелось услышать историческое выступление В. И. Ленина на Финском вокзале. В 1917 году В. Терьян вступил в ряды большевистской партии. Он начинает работать в недавно образованном комиссариате по делам национальностей, ведет политико-воспитательную работу среди армян, живущих в разных уголках России.

Погруженный в партийную работу, В. Терьян находит время и для перевода на армянский язык сочинений классиков марксизма-ленинизма. Он перевел биографию К. Маркса, «Государство и революцию» В. И. Ленина, издал брошюру «Что говорит Ленин о крестьянстве» и др.

В 1918 году В. Терьян — комиссар Лазаревского института, впоследствии — Московского армянского института. Решением коллегии комиссариата по делам национальностей был создан совет армянского института, в состав которого вошли В. Терьян, И. Орбели, П. Макинцян, Н. Марр и другие.

Кроме того, он является участником Брест-Литовской делегации и числится консультантом по армянским делам. Значительный вклад внес В. Терьян в дело укрепления дружбы между народами Закавказья. Он резко критиковал предательскую внутреннюю и внешнюю политику буржуазно-национа-

² Газ. «Литератури Сакартвело», № 39, 1976 г.

листических партий. Целью этой политики было посеять ненависть и вражду между народами Закавказья. В своих пламенных пропагандистских статьях поэт призывал рабочий класс Закавказья не поддаваться на эту вражескую уловку.

Единственно верным путем для народов Закавказья он считал путь единения с Россией, знакомство и изучение ее передовой литературы и культуры: «Любовь и симпатия к России у армян стали традицией. Наш народ всегда инстинктивно чувствовал, что в России — истинный путь к спасению, и лучшие представители нашей интеллигенции ясно и четко выразили это», — писал в одной из статей Терьян. И действительно, Терьян, с детства приобщившийся к великой русской литературе и культуре, искусству и философии, на протяжении всей своей короткой жизни был неутомимым пропагандистом и певцом дружбы между армянским и русским народами.

В конце 1919 года по особому заданию партии и правительства В. Терьян отправился в Туркмению. В дороге, в Оренбурге, 7 января 1920 года он скончался от воспаления легких.

Поэтическое крещение В. Терьян получил в Тбилиси — тут в 1908 году вышел первый сборник его стихов «Грезы в сумерках». Именно в Тбилиси получил он благословение двух великих армянских поэтов Ав. Исаакяна и Ов. Туманяна. Вот что пишет об одной из встреч с ним Ав. Исаакян: «Мы — в номере гостиницы. Ваан взволнованно читает стихи, постепенно приходя все в большее волнение, — я увлеченно слушаю его. Он еще не кончил читать, когда я в нетерпении вскричал: «Молодец, Ваан, прекрасные стихи, кристальные чувства, совершенные формы. Это — настоящая поэзия». У Ваана заблестели глаза. «И Туманяну понравилось, ваше мнение для меня решающее. Теперь я не боюсь критиков», — сказал польщенный похвалой варпетта молодой поэт.

Ваан Терьян уже в начале творческого пути сумел преодолеть личные, камерные настроения, выдвинув на передний план общественные и социальные темы. Описывая жизнь простого народа, поэт сочувствует ему, хотя в его стихах нет той резкости и боевой направленности, которые характеризовали революционную поэзию основателя армянской пролетарской поэзии Ак. Акопяна. Но перелом в его художественном мировоззрении в значительной степени обусловлен именно социальным мотивом, который, постепенно усиливаясь, занимает основное место в творчестве Терьяна. В 1912 году Терьян опубликовал стихотворения «Возвращение», «Восход солнца»

и др., в которых ясно чувствовались симпатии поэта к пролетариату.

Поэтические поиски В. Терьяна, вызванные общественными потрясениями, закончились победой — создал полные боевого пафоса стихи:

Вновь из темной бездны одиночества
Вернулся я бодрым и гордым, —
И приветствовал меня звоном ручеек,
И обжег меня новым чувством...

И вот потому я пришел к вам,
Чтоб выковать огненные слова,
Чтоб услышать ритмы боя,
Увидеть поход могучий.

В «Восходе солнца» четко выражено отношение поэта к трудовому народу.

В. Терьян восторженно встретил Октябрьскую революцию 1917 года и активно включился в дело строительства молодого социалистического государства. В 1917—1919 годах поэт создал цикл стихов «Песни Октября».

В. Терьян прекрасно сознавал, что новое содержание требовало соответствующей новой формы, возвышенные чувства немислимы без атмосферы праздничности. Поэт призывает пролетариат к новым, еще более высоким победам:

Проснись, рабочий,
Зажги новой жизни
 рассветный живой луч
И подними красное знамя свободы!

Он верил в несокрушимую силу пролетариата и свободы, которые идут чеканным шагом рука об руку.

Идет стальным шагом,
И весь мир бледнеет,
Освещенный ярким сиянием.

В. Терьян вышел на общественную арену в сложное, противоречивое время. Как и всякий истинный художник, он был сыном своего времени, и все наболевшие вопросы современной ему действительности в той или иной степени нашли отражение в его творчестве. Несмотря на то, что поэт претерпел влияние символистов, магистральная линия его творчества

не изменилась. Он сумел преодолеть болезненные настроения и обогатить свою поэзию общественно-злободневными темами. В этом несомненно большую помощь оказала ему верность национальным традициям и традициям передовой русской литературы.

В статье «Акакий Церетели в Москве» В. Терьян описывает приезд Акакия в Москву, прием, который оказали своему великому поэту грузины в Москве: «Стоявший рядом со мной некий русский журналист спросил: «Чем объяснить такую безграничную любовь к поэту? — Не знаю, — ответил я, впервые в жизни пожалев, что не знаю грузинского языка. Я даже не знал, что написал А. Церетели. Что я мог ответить любознательному русскому. Он знал, что я армянин, и не сомневался в том, что я хорошо знаю грузин и лучше, чем он, знаком с жизнью и литературой соседнего народа».

Чтобы восполнить пробелы в своем образовании, Терьян с 1913 года энергично занялся изучением грузинского языка и литературы.

В Ереванском Литературном музее имени Е. Чаренца в личном фонде В. Терьяна хранится множество рукописей, которые свидетельствуют об упорной и долгой работе поэта по изучению грузинского языка. Из этих материалов видно, что Терьян изучал не только язык, но и историю Грузии, лекции по которой в Петербургском университете ему читал Иванэ Джавахишвили.

О том, с каким упорством В. Терьян изучал грузинский язык, свидетельствует армянский литератор Г. Левонян, который именно в этот период посетил поэта в Петербурге. Он пишет: «Помнится, над столом Ваана на стене была прикреплена бумага, на которой большими буквами были написаны спряжения грузинских глаголов. Я спросил, зачем это, и он ответил, что таким образом они у него всегда перед глазами и он лучше запоминает их».

Уже тогда Терьян был болен, но болезнь не сломила его воли. Он занимался дома, так как на лекции ходить уже не мог. Н. Марр писал: «В. Терьян с большим энтузиазмом и заинтересованностью стал слушать курс лекций по грузинской грамматике, проявив своеобразные способности педагога и в совершенстве овладевая теоретическими основами». Но вскоре он стал пропускать лекции. Вследствие хронического характера болезни пропуски участились, но несмотря на это поэт удивил Н. Марра основательным знанием грузинского. «Совершенно неожиданно для меня, — писал Н. Марр, —

экзамен превратился в настоящий триумф и перерос в долгую беседу, во время которой я убедился, что имею дело с замечательным материалом, из которого впоследствии выйдут настоящий ученый-исследователь».

Серьезная работа с целью освоения грамматики, лексического фонда грузинского языка, литературы и истории Грузии помогла впоследствии В. Терьяну осуществить высокохудожественный перевод на армянский язык вступления к бессмертной поэме «Вепхисткаосани» и стихотворения Ак. Церетели «Песнь кинто».

Над армянским переводом «Вепхисткаосани» В. Терьян работал в 1916—1917 годах. Впервые же перевод был опубликован в № 1 журнала «Норк» за 1922 год.

В период работы над переводом поэмы В. Терьян основательно ознакомился с существующим армянским переводом «Вепхисткаосани», выполненным Ст. Бастамяном, с известными русскими переводами, в том числе марровским переводом пролога и эпилога, снабженным обширным комментарием.

В личном фонде В. Терьяна в Литературном музее имени Е. Чаренца хранится переписанный поэтом армянский перевод «Вепхисткаосани» Ст. Бастамяна. По-видимому, поэт использовал его в работе. В. Терьян составил грузино-русский словарь по вступлению к поэме и частично по первой главе. Давая толкование слов, Терьян вносил и свои замечания. Эта рукопись (85 к) состоит из широкоформатной двадцатичетырехлистной тетради, на обложке которой справа черными чернилами по-грузински написано: «В. Терьян «Вепхисткаосани», ниже надпись по-армянски, а затем по-русски: «Витязь в барсовой коже». Далее следует вступление и справа идут выписанные по-грузински слова из поэмы и русский перевод их.

Вот так переводчик работал над текстом поэмы, ее богатой художественной лексикой. Раскрытие содержания поэмы Руставели помимо большого поэтического таланта требует и исследовательского чутья: «По сведениям, дошедшим до меня, в оставленных им (В. Терьяном — Б. А.) бумагах, которые имеют отношение к переводу творения Руставели, ясно видна проделанная им большая работа для прояснения всего того, что облегчило бы ему еще более правильное понимание текста грузинского поэта³, — писал Н. Марр.

Перед переводчиком «Вепхисткаосани» стояла нелегкая:

³ Н. Марр. Памяти моего слушателя В. Терьяна, журн. «Литературное Закавказье», 1935, № 2, с. 32.

задача: сохраняя верность форме и содержанию, перенести на свой язык мощь образных и художественных аксессуаров поэмы.

В. Терьян нашел верный ключ к переводу — он сделан шестнадцатисложным размером. Следует отметить, что опасность отступления от оригинала более вероятна в прологе, нежели в повествовательной части поэмы, поскольку во вступлении автор формулирует сложную систему своих мировоззренческо-философских и литературных взглядов. К чести В. Терьяна надо сказать, что он избежал этой опасности. Перевод пролога «Вепхисткаосани» выполнен им на высоком художественном уровне — в нем чувствуется чеканность стиха и глубина философской мысли оригинала.

В. Терьян не только не отступил от содержания поэмы, он умудрился сохранить и стилистические особенности, и ритм оригинала. Переводчик с особым тщанием подбирал армянские слова даже с точки зрения звучания. Возвышенная художественная интонация оригинала нашла достойное соответствие в его переводе. В терьяновском переводе «Вепхисткаосани» не чувствуется влияния какой-либо литературной школы (как, например, в русском переводе, выполненном К. Бальмонтом); это тем более неожиданно, что в свое время армянский поэт не избежал определенного влияния формалистических литературных течений. Но этим не исчерпываются достоинства перевода Терьяна, литературно-историческая ценность его значительна хотя бы потому, что он заложил основы для более совершенного перевода руставелевской поэмы на армянский язык.

Коротко об истории перевода «Вепхисткаосани» на армянский язык. Первым переводчиком поэмы является Ст. Бастамян (1815—1872 г.), родившийся в семье тбилисского армянина. Он получил медицинское образование в России, после чего работал врачом в Тбилиси и одновременно занимался общественной деятельностью, сотрудничал в армянской периодической печати.

Ст. Бастамян перевел отрывки из поэмы «Вепхисткаосани» на тбилисский диалект армянского языка. Перевод был опубликован в армянском журнале «Крунк хайоц ахшаркин» в 1860—1862 годах под псевдонимом «Саргис». Грузинская пресса откликнулась на этот первый опыт перевода поэмы на армянский язык. Вот что писал журнал «Цискари»: «Армянский писатель Ст. Бастамов перевел на армянский язык сочинение нашего замечательного бессмертного поэта Руставе-

ли «Вепхисткаосани». Сам автор прочел нам перевод, он по-старался передать его на таком доходчивом языке, что даже тот, кто хотя бы немного знает армянский, поймет перевод. Чтобы грузинская общественность ясно представила себе, как звучит поэма на армянском языке, как переданы ее содержание и художественные особенности, автор рецензии дал перевод с армянского на грузинский 58 и 59 строф поэмы.

Несмотря на невысокие художественные достоинства перевода Ст. Бастамяна, он все-таки занимает значительное место в истории перевода поэмы на армянский язык. На его основе был создан перевод нескольких глав поэмы на литературный армянский язык, выполненный Д. Мелояном. В 1910 году, также на основе этого перевода, поэма была переведена на литературный армянский О. Туманяном и включена им в учебники.

Прозаический перевод «Витязя в барсовой шкуре» на армянский принадлежит Х. Мириманяну (1896 год). Остальные переводы выполнены Ан. Ауштряном, Ов. Караяном, В. Сиомоняном и другими.

Примечательно, что интерес и любовь армянского народа к творчеству Шота Руставели особенно проявились в нашу эпоху. В дни руставелевских торжеств в 1937 и 1966 годах в армянской научной литературе и прессе широко освещались вопросы идейно-художественных достоинств поэмы. Особенно хочется отметить неоценимый вклад в дело перевода поэмы на армянский язык тбилисского поэта Ов. Караяна, отдавшего несколько десятков лет этой работе. В 1983 году вышел полный перевод поэмы, выполненный им. Этот перевод вызвал одобрение грузинской и армянской литературной общественности и прессы. И выполненный в свое время В. Терьяном превосходный перевод вступления к поэме сыграл немалую роль в создании полного перевода произведения Ш. Руставели на армянский язык.

В то время, когда Терьян перевел стихотворение А. Церетели «Песнь кинто», творчество грузинского поэта было почти неизвестно армянскому читателю. Точная дата перевода этого стихотворения неизвестна. По нашему мнению, оно переведено в 1914—1915 годах. Из биографии В. Терьяна мы знаем, что в 1913—1914 годах он упорно работал над изучением грузинского языка и литературы. Думается, он перевел стихотворение Ав. Церетели до того, как взялся за «Вепхисткаосани», хотя бы для того, чтоб приобрести некоторый навык.

При переводе «Песни кинто» Терьян старался не нарушать целостности формы и содержания. В личном фонде В. Терьяна в Литературном музее имени Е. Чаренца хранятся черновые наброски этого перевода (р. 77). Эта рукопись представляет собой 10-листовую тетрадь. На первой странице переписано стихотворение по-грузински, потом по-русски — видимо, для лучшего понимания текста стихотворения. Затем идет его армянский перевод, который предваряет небольшое собственное стихотворение Терьяна на армянском языке.

Армянский перевод стихотворения «Песнь кинто», выполненный поэтом на основе поэтической лексики литературного армянского языка и языка ашугов, сохранил дух и колорит оригинала.

Особое место в публицистических статьях В. Терьяна отводится вопросам совместной борьбы Армении и Грузии против персов и других иноземных захватчиков.

Историку А. Ованесяну принадлежит труд, посвященный договору между Вахтангом VI и Петром I о походе против персов и кавказско-русским взаимосвязям. В рецензии на этот труд В. Терьян положительно отзывается о совместной армяно-грузинской борьбе против Персии. Разбирая книгу Д. Анануни «Русско-армянское общественное развитие», Терьян касается и грузинской действительности: «В Грузии основная масса армянского населения состоит из горожан и ремесленников, объединенных в цехи и организации, и сравнительно мало дворян и крестьян».

Грузинская тема в творчестве В. Терьяна особенно активно разрабатывалась в период между 1914 и 1917 годами. Именно в этот период написано большинство его статей на эту тему.

В созданных В. Терьяном произведениях чувствуется аромат гор Джавахети, рокот стекающих по ее склонам ручьев, неповторимый грузинский дух и колорит. В душе его навечно запечатлелись образы пастухов из родного села, вольная, свободная жизнь которых стала недостижимой мечтой для живущего на чужбине поэта.

В Джавахети зажигают костры	Я же пленник на чужбине
джавахетские пастухи, —	чужих законов,
С одной вершины на другую	Из плена горьких мыслей
свободно плывут облака,	не могу освободиться.

У поэта только одна мечта — увидеть во сне родное село, горы и поля. Он чувствует, что ему не доведется дожить до

того дня, когда он сможет вновь посетить незабываемые места своего детства.



Снятся мне вечнозеленые горы, поля, виноградники,
Снятся мне день, которого я уж не дождусь, —

В Джавахети зажигают огнем
огненными руками
И друг друга вольно окликают пастухи.

Стихотворение «Тбилисская весна» пронизано лиризмом и непосредственностью чувств. Поэт с грустью пишет о незабываемых днях, проведенных в Тбилиси.

Я хочу сохранить превращенный
в весенний свет
Вечно улыбающийся и пылающий
тбилисский огонь;
От ярких его искр я зажжен,
Что бы ни произошло на свете,
я не смогу измениться,
Как бы сердце ни было преисполнено горя,
(Как бы ни был я) убелен печалью,
покрыт времени серебром,
Я не смогу убежать от твоих глаз, дух
одинокий,
Навечно сердце мое предано тбилисскому огню.

Писатель Ш. Алхазிшвили оставил теплые, проникнутые любовью воспоминания о В. Терьяне⁴.

Грузинская общественность с большим уважением и любовью относится к личности и творчеству выдающегося армянского поэта. Его стихи переводятся на грузинский язык с 20-х годов. Его стихи переводили С. Шаншишвили, М. Поцхишвили и др. В 1983 году издательство «Накадули» выпустило в свет сборник стихов В. Терьяна в переводе М. Поцхишвили «Сердце — цветок».

В родном селе поэта Гандзе открыт дом-музей и более десяти лет там отмечается День В. Терьяна, на который собираются грузинские и армянские писатели. Каждая такая встреча становится народным праздником.

В нынешнем году исполнилось 100 лет со дня рождения Ваана Терьяна. Грузинский народ вместе с другими братскими народами отдает дань уважения памяти армянского поэта.

⁴ Газ. «Литератури Сакартвело», № 24, 1976 г.

С ЛЕГКОЙ руки нотариуса из Сицилии Джакомо да Лентино, семь с половиной веков тому назад создавшего первые образцы сонета, четырнадцатистрочное стихотворение, состоящее из двух четверостиший (катренов) и двух трехстиший (терцетов) с определенным типом рифмовки, стало излюбленной формой стиха на европейском континенте. Выдающимися мастерами сонета были Данте Алигьери и Франческо Петрарка, Микеланджело Буонарроти и Торквато Тассо, Луис ди Камознс и Лопе де Вега, Пьер де Ронсар и Жоашен Дю Белле, Эдмунд Спенсер и Уильям Шекспир, Ян Коллар и Адам Мицкевич, Шарль Бодлер и Жозе Мариа де Эредиа, Райнер Мария Рильке и Иоганнес Бехер... В России прекрасные сонеты создали Антон Дельвиг и Афанасий Фет, Иван Бунин и Валерий Брюсов, Вячеслав Иванов и Максимилиан Волошин, в Грузии — Галактион Табидзе и Валериан Гаприндашвили, Паоло Яшвили и Иосиф Гришашвили.

Какова же родословная сонета, этой одной из самых сложных («изо всех стихов его стихом... владеть всего труднее», как справедливо заметил Фет) и изысканных форм мировой поэзии? По мнению одних исследователей, «сонет произошел из канцонной строфы тройкого деления и

Владимир ЧЕРЕДНИЧЕНКО

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ СОНЕТА



К ИТОГАМ СИМПОЗИУМА

первоначально был ни чем иным, как просто такой отдельной строфой, которую провансальцы обозначали наименованием *sonnetas esparsas* и применяли преимущественно для выражения моральных учений¹, по мнению других, — из сочетания двух «страмботто» — стрóf южноитальянской народной песни неодинаковой длины². Сицилийская школа, куда входил и Джакомо да Лентино, не сыграла сколько-нибудь значительной роли в развитии этой формы — первый расцвет сонета связывают с деятельностью знаменитой школы «дольче стиль нуово», к которой принадлежал молодой Данте. В период Треченто (XIV век) благодаря Петрарке сонет переживает свой золотой век. В это же время складываются и основные каноны сонета, которые окончательно утвердятся лишь спустя полтысячелетия в творчестве Эредиа, этого, по словам Леонида Гроссмана, «самого утонченного и уверенного мастера» сонета. Требования, предъявляемые к каноническому сонету, затрагивают его объем и строфическую структуру; схему расположения рифм, их количество и качественную характеристику; размер стиха (для русской поэзии это пятистопный или шестистопный ямба); синтаксис катренов и терцетов; лексико-стилистическую систему; темпоритм³. Канонический сонет, это, по словам Иоганнеса Бехера, «воплощение поэтической мудрости», демонстрирует поразительную взаимосвязь формы и содержания: «...сущность сонета в том, что он является подлинно диалектическим видом поэзии, в высшей степени драматическим (превосходящим своей внутренней драматичностью балладу). Эта драматичность вытекает из того, что схема его имеет содержательный характер, а именно: первый катрен — как теза, второй — как антитеза, а последующие два терцета — как синтез»⁴. Любопытно, что за несколько десятилетий до Бехера (что уже было отмечено К. С. Герасимовым) мысль о сонете как «диалектической форме» высказал Валерий Брюсов. Схема формально-содержательной структуры «идеального» сонета у Брюсова имеет несколько иной вид: первый катрен — мысль, второй катрен — развитие мысли, пер-

¹ Гаспари А. История итальянской литературы. М., 1895, т. I, с. 56.

² См., например: Гаспаров М. Л. Сонет. — В кн.: Крат. лит. энцикл., 1972, т. 7, стб. 68.

³ О кано́нах сонета см.: Герасимов К. С. Сонет в творческом наследии Валерия Брюсова. — В кн.: Валерий Брюсов. Проблемы мастерства: Сб. науч. тр., Ставрополь, 1983, с. 37—39.

⁴ Бехер И. Р. Философия сонета, или Маленькое наставление по сонету. — Вопросы литературы, 1965, № 10, с. 194.

вый терцет — вторая мысль (противопологающая себя первой), второй терцет — примирительный синтез обеих мыслей⁵. Заключительная ударная или «катастрофическая» строка является кульминацией сонета. У больших мастеров она всегда афористична, неожиданна и несет на себе основную смысловую нагрузку.

Математическая асимметрия архитектоники сонета (на что обратил внимание еще Теодор де Банвиль), разделенного на два катрена (8 строк) и два терцета (6 строк), требует соответствующей компенсации, а именно: особо напряженного ритма в терцетах при обилии интонационно-логических пауз. Такая компенсация обуславливает уравновешенность композиции сонета — необходимое условие для восприятия всего стихотворения как гармонического целого.

На протяжении многовековой истории своего развития сонет знал и периоды расцвета, и периоды упадка. Заметно возросший в последние десятилетия интерес к сонету не случаен. Современный человек, испытывающий значительные информационные перегрузки при резко осязаемом дефиците времени, все чаще обращается к опыту искусства, в особенности тех его форм, где в минимуме объема содержится максимум эстетической информации. Возросший интерес к сонету имеет и более конкретные, чисто профессиональные основания. С одной стороны, возникла необходимость осмыслить уже порядком отстоявшееся блистательное прошлое сонета, раскрыть секрет обаяния самой плодотворной из твердых стихотворных форм, с другой стороны, пришло время оценить опыт современной поэзии, обогатившей сонетную форму новыми решениями.

Этим задачам и был посвящен открывшийся 21 мая в Тбилисском университете Симпозиум по проблемам теории и истории сонета — первый опыт подобного рода в нашей стране. Инициатор проведения симпозиума — страстный пропагандист и знаток сонета, доцент Тбилисского университета К. С. Герасимов.

В течение двух дней участники симпозиума выступали с докладами в Тбилисском университете и Тбилисском педагогическом институте иностранных языков имени И. Чавчавадзе.

Профессор Тбилисского университета, доктор филологических наук Д. А. Тухарели рассказал собравшимся о сонете в литературах народов СССР, особое внимание уделив русскому, украинскому, грузинскому, армянскому и узбекскому сонету. Была подчеркнута плодотворность сонетной традиции в развитии советской

⁵ См. об этом в цитированной статье К. С. Герасимова, с. 39—40.

поэзии. Докладчик осветил также историю изучения сонета в СССР, основное внимание уделив работам грузинских исследователей сонета А. Гацерелия, Г. Микадзе, А. Хинтибидзе, М. Кикивадзе, И. Лордкипанидзе, Р. Беридзе и других.

Профессор Тбилисского университета, доктор филологических наук Г. М. Гиголов, автор опубликованной в 1956 году работы о сонете Пушкина «Суровый Дант не презирал сонета...», на сей раз посвятил свое выступление циклу сонетов Леонида Гроссмана «Плеяда», в котором мастерски воссозданы портреты современников и соратников Пушкина. По мнению Г. М. Гиголова, «Плеяда» — не конгломерат сонетов, а стройная ассоциация венкового типа, скрепленная самой идеей «плеяды». Докладчик отметил глубокую эрудицию и безупречный художественный вкус Гроссмана-литературоведа (в том числе — теоретика сонета), поэта и человека, стиль мышления которого был отмечен печатью утонченного артистизма.

Сотрудница Института грузинской литературы имени Шота Руставели АН ГССР Т. Г. Барбакадзе ознакомила присутствующих с материалами по истории сонета в Грузии. Отмечая тот факт, что сонет проник в грузинскую поэзию в 30-х годах XIX века благодаря переводам из Мицкевича Георгия Эристави, докладчик особо подчеркнул, что становление оригинального грузинского сонета приходится на начало XX века и связано с деятельностью грузинских символистов-«голубороговцев».

Доклад доцента Тбилисского университета, кандидата филологических наук К. С. Герасимова «Диалектика канонов сонета» — итог многолетних раздумий ученого над природой сонета. Здесь впервые в литературоведении была предпринята комплексная попытка не только обнаружить в сонете отражение диалектической природы бытия, но и обосновать закономерную сущность канонов сонета. Главное достоинство сонетной структуры, по мысли К. С. Герасимова, состоит не столько в сохранении памяти о былом, сколько в способности наилучшим образом выразить многомерную парадоксальную сущность бытия на соответствующем данной эпохе уровне восприятия. В этой связи интерес представляет прогноз исследователя относительно эволюции сонета: синтез в сонете будет осуществляться не как примирение тезиса и антитезиса, а как осознание принципиальной неразрешимости этой дихотомии. Научное мировоззрение XX века, по мысли ученого, способно примирить нас с невозможностью примирения двух полярных начал. Что касается канонов сонета, то они, по мнению К. С. Герасимова, не есть свод навязанных извне в произвольном порядке правил (как это часто преподносят), а результат осуществ-

вляемого в ходе многовековой поэтической практики естественно-го отбора наиболее оптимальных вариантов.

Заведующий кафедрой романо-германской филологии Тбилисского педагогического института иностранных языков, кандидат филологических наук В. Ш. Лебанидзе посвятил свое выступление «Сонетам к Орфею» Рильке и проблеме полноты теории сонета. По мнению докладчика, теория сонета сможет обрести свою подлинную полноту, лишь постигнув внутренний парадокс цикла «Сонетов к Орфею» — своеобразнейшего явления в европейской поэзии 20-х годов нашего столетия. Это постижение, как считает исследователь, возможно лишь при условии восприятия всего цикла как единственного и неповторимого Сонета, в фокусе которого находится образ Орфея.

Старший научный сотрудник отдела рукописей и редких книг Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, доктор философских наук А. Х. Горфункель (Ленинград) рассмотрел одиннадцать сонетов-посвящений, сонетов-предисловий и сонетов-прологов Джордано Бруно в связях с его философией. По мнению ученого, нерасторжимая, осуществляемая не только на понятийном, но и на образном уровне связь этих сонетов с произведениями, к которым они предпосланы, свидетельствует прежде всего о глубоком внутреннем единстве творчества выдающегося итальянского гуманиста.

Старший научный сотрудник Института русской литературы АН СССР, кандидат филологических наук В. Э. Вацуро (Ленинград) на материале творчества Василия Козлова и Антона Дельвига осветил вопрос об отношении русского сонета 1820-х годов к европейской романтической традиции, вскрыв причины «возрождения сонета» в России в этот период.

В докладе доцента Кемеровского института культуры, кандидата филологических наук С. Д. Титаренко «Крымские сонеты» Мицкевича в русских переводах и развитие сонета в конце 20-х — 30-е годы XIX века» сделан обзор русских переводов указанных сонетов. По мнению исследователя, после появления в 1826 году в Москве «Крымских сонетов» в русской поэзии стала наблюдаться тенденция к циклизации сонетов, которая была обусловлена не только влиянием польского поэта, но и объективным процессом эпизации литературы.

Заведующий кафедрой французской филологии Тбилисского университета, кандидат филологических наук Г. С. Буачидзе посвятил свое выступление грузинскому переводу «Трофеев» Эредиа. Докладчиком были отмечены как сильные, так и слабые стороны перевода, опубликованного в 1936 году Микэлом Патаридзе.

Подчеркнута роль последнего в приобщении грузинского читателя к поэзии выдающегося французского сонетиста.

Участники симпозиума минутой молчания почтили память трагически погибшего сотрудника Института грузинской литературы имени Шота Руставели АН ГССР, кандидата филологических наук М. К. Киквадзе — известного исследователя грузинского сонета.

Итоги симпозиума следует расценить как безусловно положительные. Сделан первый практический шаг по координации усилий специалистов, работающих в области сонетистики. Конечно, многое еще предстоит сделать — и, в первую очередь, в сфере еще недостаточно разработанной теории сонета. В частности, на основе анализа всевозможных модификаций сонетной формы следует провести более четкую демаркационную линию не только между каноническим и неканоническим сонетом, но и между сонетом и четырнадцатистрочником. Ощущается потребность также в создании достаточно полной «Истории европейского сонета», к работе над которой следует в первую очередь привлечь специалистов по романо-германским и славянским литературам. Симпозиум определил перспективные направления в развитии сонетистики. Единодушным было мнение докладчиков и всех присутствовавших на симпозиуме: важная инициатива тбилисских ученых должна быть подхвачена их коллегами из других городов страны.

Симпозиум по проблемам теории и истории сонета был проведен Тбилисским и Ленинградским университетами совместно с Тбилисским педагогическим институтом иностранных языков параллельно с Симпозиумом «Литературное содружество народов СССР», посвященным 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и героической защите Ленинграда.

По материалам симпозиума в Тбилиси вышел в свет сборник статей «Гармония противоположностей. Аспекты теории и истории сонета» (редакторы — проф. О. А. Баканидзе, проф. Г. Д. Джавахишвили, доц. К. С. Герасимов), куда включены также работы доктора филологических наук А. К. Хинтибидзе о «хромом» сонете в грузинской поэзии, кандидата филологических наук С. И. Бэлзы о сонетах Шекспира и кандидата филологических наук, ныне покойного М. К. Киквадзе о путях развития грузинского сонета. В сборнике освещаются различные аспекты теории и истории сонета как жанра философской лирики в литературах народов СССР и стран Запада. Книга богато иллюстрирована, в качестве приложения в ней представлены сонеты на языке оригинала и в переводах, принадлежащие выдающимся мастерам поэтического слова.



ТРИ ТРИЕДИНСТВА

НОДАР Думбадзе, Чабуа Амиреджиби, Отар Чиладзе — три писателя, три личности, три мира, три судьбы. Первое триединство.

В критике, посвященной путям развития современной советской и многонациональной прозы, столь богатой писателями, выражающими дух своего народа, эти имена не раз произносились рядом. «Зачастую именно эти писатели представляют в глазах иноязычной аудитории свою национальную литературу», — отмечает в своем вступительном слове автор книги, критик А. А. Руденко-Десняк.

Но не эта почетная и сложная миссия, заслуженно возложенная на них Призванием, послужила причиной обращения автора к их творчеству. А. А. Руденко-Десняк с доброжелательной, строгой и вдумчивой пристальностью давно следит за развитием современной грузинской прозы. Творчество упомянутых писателей привлекло его перо гораздо раньше, чем к ним пришла широкая известность. Попробуем же и мы вместе с автором разобраться в том, что объединяет эти три имени в глазах современного чи-

тателя, в том, что же все-таки стоит «за простыми истинами». («Что за простыми истинами» — именно так назвал критик очерк, посвященный Нодару Думбадзе).

Критик прослеживает творческий путь Нодара Думбадзе — писателя, имя которого сегодня уже принадлежит истории, от первого, напечатанного петитом в разделе сатиры и юмора журнала «Цискари» романа «Я, бабушка, Иликко и Илларьон» до последней повести «Кукарача», метко охарактеризованной им городским романсом.

Отдавая дань самобытности каждого из писателей, о которых он пишет, критик невольно оказывается вовлеченным в их духовный мир. Вот почему глава, посвященная Н. Думбадзе и его героям, написана со столь же требовательной доброжелательностью и бескомпромиссной пристрастностью, как и вся проза Н. Думбадзе. Ч. Амиреджиби, органично сочетающий в своем романе философскую притчу с авантюрной фабулой, обусловил широту критического осмысления автором его творчества. А Отар Чиладзе благодаря своему негромкому, но мощному и уверенному голосу (речь в книге идет о романах «Шел по дороге человек» и «И всякий, кто встретится со мной») задал величавую эпичность интонации.

Разнообразны стили и манеры этих писателей, разные творческие и мировоззренческие задачи ставят они перед собой. И искусственными ока-

А. А. Руденко-Десняк. От века и доныне..., М., «Знание», 1984 г.

жуются попытки формально свести их к общему знаменателю. Единство их — в их различии, и прежде всего в отношении к главному объекту художественного творчества — к человеку, в различной психологической и архитектурно-художественной организации произведения относительно этого главного объекта.

«Дата Туташхиа» — своего рода романтическая эпопея одного героя, одной личности и судьбы. Дата — вот главная и основная точка отсчета автором своей нравственной и творческой позиции. Герой Думбадзе, постоянный предмет его пронизательного взгляда — это собирательный образ современника. Думбадзе так же неизменен и многогранен в своем постоянстве, как и его герои. У Чиладзе функцию героя как главного действующего лица несут все персонажи его романов, отступая на задний план перед такими истинно чиладзевскими героями, как Народ и История.

Три писателя, три угла зрения на героя как на воплощение индивидуального, типического, общего. В этом, на наш взгляд, еще одно триединство, выявленное критиком. И не оно ли подспудно послужило поводом к названию книги — «От века и доныне...»

И несколько слов о самом духе книги, о той взыскательно-уважительной атмосфере, в которую с первых же страниц погружает читателя автор. «В здание иноязычной культуры нужно входить с большой осторожностью, — предупреждает А. А. Руденко-Десняк. — Очень легко ошибиться, запутавшись в незнакомом распо-

ложении дверей, потерять много времени на элементарный для знающих — путь, слишком просто пройти мимо порога задрапированного входа, ведущего в лучший, наиболее ценный, полный сокровищ зал». Действительно, подобная опасность велика и чревата более чем внутрилитературными курьезами. Эстетика мышления каждого из трех прозаиков (уточним, трех прозаиков и поэта, ибо Отар Чиладзе, как известно, не только романист, но и один из самых глубоких современных грузинских лириков) во многом определяет подход автора к анализу их творчества, но не забывает он и об этике, о той самой этике, которая должна лежать в основе каждого критического выступления. Сложна и ответственна роль посредника между писателем и теми, к кому обращено его творчество. Критик рискует оказаться всего лишь толмачом. Увлекательна возможность окунуться в глубины самовыражения. А. А. Руденко-Десняк ведет разговор на равных — и с автором, и с читателем. В этом третьем триединстве — доверительное, уважительное, органичное.

«Грузино-русских строк отряды в примерном встретились бою» — писал в одном из своих стихотворений Н. Тихонов. Но «встреча» эта произошла гораздо раньше, русско-грузинские литературные взаимосвязи насчитывают не одно столетие. Они имеют свою богатую и давнюю историю. Суждено им и плодотворное будущее. Поистине — от века и доныне...

Динара
КОНДАХСАЗОВА

СЕРДЦА СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

ДОСТАВЛЯЕТ истинное наслаждение извлекать из текстов этой книги* факты-жемчужины, красноречиво говорящие о порой неисповедимых путях творческих взаимовлияний. Вот хотя бы один из них, касающийся переведенной в 1935 году Тицианом Табидзе поэмы Аветика Исаакяна «Абул-Ала-Маари». Во включенной в сборник статье Симона Чиковани «Гимн в честь Аветика Исаакяна», впервые опубликованной в 1941 году в газете «Литературули Сакартвело», есть строки о том, что в предисловии к грузинскому изданию этого поистине неувядаемого произведения армянской поэзии его автор не просто утверждал, что идет в нем «по стопам бараташвилевского «Мерани». Он был счастлив заявить об этом, называя Николаза Бараташвили старшим братом, явившимся «источником его вдохновения».

То же, но более лаконично свидетельствует Иосиф Гришавили в своем эссе о великом певце Армении, опубликованном спустя четырнадцать лет в той же газете.

Факт этот дает богатую пищу для размышлений. Симон Чиковани предлагает свое тол-

* «Грузинские писатели об армянской литературе», Ереван, изд-во Ереванского университета, 1984, на рус. яз.

кование. Он считает, что это всего лишь «благородное выражение чувств армянского поэта», вовсе не означающее прямое влияние, ибо поэма А. Исаакяна — произведение эпического склада, порожденное совершенно иной общественной почвой, и т. д. Разобраться в этом — дело литературоведов, исследователей армяно-грузинских литературных взаимосвязей. Однако, думается, вряд ли признание «старшего брата среди поэтов Кавказа», как определил Аветика Исаакяна Константин Гамсахурдия в своих замечках о нем, опять-таки взятых из «Литературули Сакартвело» (1957 г.), только риторическая фигура, тем более, что предполагается не грубо прямолинейное понимание акта воздействия шедевра творца одной национальной принадлежности и эпохи на выдающегося представителя литературы — другой. Надо полагать, имеются в виду реализованные в конкретных поэтических образах идеи стихотворения Н. Бараташвили, послужившие импульсом, разбудившим именно такую направленность творческой фантазии поэта, наделенного таким же могучим интеллектом и поэтическим воображением. А как честный художник и человек, А. Исаакян не мог не выказать с полной откровенностью своей признательности тому, кто подарил столь близкое его душе созвучие, взволновавшее его сердце истинного поэта. И полет Мерани открыл путь каравану Абул-Ала-Маари, и он, как и бараташвилевский крылатый конь, устремился в неизведанное, дабы проложить дорогу следующим за ним...

Так великий певец одного народа через столетие протянул руку мастеру поэтического слова другого народа, именуемому в Армении, как и во всем Закавказье, Мастером с большой буквы — Варпетом. Ибо во все времена поэты — братья. И как сказал патриарх грузинской поэзии, классик XIX века Акакий Церетели, «ты армянин, а я — грузин, а все же братья мы...»

Подтверждением этих вещей слов служат высказывания о поэзии и личности Аветика Исаакяна таких грузинских писателей, как Иосиф Гришашвили, Константин Гамсахурдиа, Шалва Дадиани, Ираклий Абашидзе и Симон Чиковани.

Дополняя друг друга, они наносят все новые штрихи к портрету этого национального поэта Армении, истинного друга грузинского народа, подлинного ценителя его духовной культуры.

Эти свидетельства современников Аветика Исаакяна высвечивают масштаб не только его поэзии, но и личности. Так, К. Гамсахурдиа называет его великим глашатаем трагического прошлого Армении, а Ш. Дадиани — бессмертным поэтом. И. Абашидзе считает, например, что творчество А. Исаакяна стоит наравне с творчеством лучших мастеров мирового поэтического слова.

Поскольку многие из авторов рассматриваемого сборника были связаны с Аветиком Исаакяном личными дружескими отношениями, их воспоминания рисуют нам образ превосходного, по словам Ш. Дадиани, человека. С огромной теплотой и уважением он описывает и его внешний облик, отражающий богатст-

во духовного мира художника, чей «высокий, умный лоб — вместительное сложное строение мыслей и чувств». К. Гамсахурдиа вспоминает, как, соскучившись по своему армянскому другу, специально едет в Ереван и там в течение двух вечеров наслаждается беседой с ним...

Эти выбранные места из разновременных высказываний грузинских писателей о большом армянском поэте — лишь малая толика того, что содержится в книге. Но в ней они преподнесены не в той последовательности и единстве, как это сделано выше, что, несомненно, затрудняет восприятие складывающегося из них целостного представления об Аветике Исаакяне как поэте и человеке.

Разговор этот начат с него потому, что большая часть материалов данного издания касается именно его. Из двенадцати авторов — пять посвятили свои статьи, воспоминания и высказывания А. Исаакяну. Но собраны они не вместе, как следовало бы ожидать, а по воле составителя книжки Ц. Зедгинидзе, без сомнения, сделавшего полезное и благородное дело, разбросаны по ней в силу принятого им принципа авторской последовательности, согласно которой подряд даны тексты о разных представителях армянской литературы одного грузинского их собрата. К примеру, открывается сборник статьями И. Гришашвили об Аветике Исаакяне, Габриэле Сундукяне и Акопе Акопяне.

Более целесообразным было бы иное расположение статей, позволяющее сконцентрировать отзывы разных грузинских писателей об одном —

армянском, что значительно облегчило бы читателю знакомство с ним.

Это тем более важно, что данное издание представляет нам такое созвездие имен, как уже упоминавшийся Аветик Исаакян, Дереник Демирчян, Ованес Туманян, Габриэл Сундукян, Акоп Акопян, Саят-Нова, Ваан Терьян и Егише Чаренц, которые, являясь цветом армянской литературы частично конца XIX и главным образом XX века, и своим творчеством, и личными контактами с деятелями грузинской культуры крепили имевшую глубокие корни традицию армяно-грузинского братства.

Как видно из книги, все они преданно любили Грузию. Более того, большинство из них, как известно, жило и творило во второй половине XIX и начале нынешнего столетия в Тбилиси, являвшемся тогда культурным центром всего Закавказья. Среди них были Габриэл Сундукян, создатель знаменитого «Пепо», Акоп Акопян, автор стихотворения «Тифлис», Ованес Туманян, написавший стихотворение «Душа Грузии», Саят-Нова, творивший здесь на языках трех народов Закавказья, и другие, считавшие нашу республику своей второй родиной.

Многоцветное, колоритное, насыщенное мыслью и чувством слово их грузинских коллег знакомит широкие круги грузинской общественности с их творчеством и ролью в истории армянской классической литературы. Это слово многомерно, доброжелательно. Оно свидетельствует о серьезном постижении сущности их творческой и общественной деятельности.

И потому воспоминания И. Гришашвили, И. Имедашвили о Г. Сундукяне, Т. Табидзе об О. Туманяне, Ш. Алхазизвили об В. Терьяне, А. Сигуа об Е. Чаренце читаются как хорошая мемуарная литература, изобилующая сочными штрихами, убедительными фактами, блестящими драгоценными подробностями, отмеченная достоверностью обстановки, колорита и времени.

Привлекают обстоятельностью критического осмысления раздумья С. Чиковани об исаакяновской поэзии, своеобразием трактовки — разбор К. Гамсахурдия романа Д. Демирчяна «Вардананк». Любопытны наблюдения И. Абашидзе как переводчика А. Исаакяна.

Некоторые из этих материалов в принципе не новы и являются открытием лишь для русскоязычного читателя, ибо, как сказано в предисловии, переведены с грузинского. Но благодаря этому введены в широкий научный оборот и стали в масштабе всего Советского Союза доступными тем, кто интересуется вопросами армяно-грузинских взаимоотношений. Хотя ряд содержащихся в них сведений уже использовался в публикациях отдельных русских изданий, в частности в «Литературной Грузии», как, к примеру, высказывания К. Гамсахурдия о Д. Демирчяне..

Но в целом это не умаляет значения рецензируемого сборника, несомненно имеющего научно-познавательную, теоретическую и практическую ценность.

Тем огорчительнее встречающиеся в нем досадные неточности, небрежности и промахи, порою дезориентирующие читателя. Так, на страни-

де 12-й в сноске говорится о том, что адрес, прочитанный К. Кипиани на юбилее Г. Сундукяна, впервые был опубликован в «Литературной Грузии», № 15, 1940 год. Но названный журнал выходит на русском языке с 1957 года. Очевидно, имеется в виду газета «Литературули Сакартвело», название которой в переводе на русский язык тоже звучит как «Литературная Грузия». А поскольку оно вообще не переводится, то и получилась такая фактическая ошибка. Далее, на странице 80-й фамилия художника-графика Н. Чернышкова напечатана как Н. Чернишков. В примечаниях, где речь идет об А. Сигуа, грузинский писатель Николо Мицишвили назван — Мициашвили. Полный разницей и в написании названия поэмы А. Исаакяна «Абул-Ала-Маари» и т. д.

Не вполне уместно, думается, включение в эту книжку материалов о Саят-Нова. Это явление в литературе уникальное, стоящее особняком. К какой литературе отнести его, если он слагал свои строки и на армянском, и на грузинском, и на азербайджанском языках? Вряд ли будет правильным называть его армянским, или грузинским, или азербайджанским певцом...

Не совсем удачным кажется и название книги — «Грузинские писатели об армянской литературе». Очень уж оно общо, безлико и сухо. В

данном случае речь идет о восьми армянских писателях, причем чаще в форме воспоминаний, описания конкретных встреч, эпизодов. Поэтому такое собирательное, объемное понятие, как литература, очевидно, вернее было бы заменить более точным, локальным. Кроме того, этот заголовок не отражает отнюдь не академический характер книги, где буквально каждая строка дышит такой душевной теплотой, таким глубоким уважением грузинских литераторов к своим армянским собратьям по перу, что их любовь и признательность к ним просто выплескиваются из прокрустова ложа этих застывших слов.

И, наконец, еще одно пожелание в случае возможного переиздания сборника. В нем проступают настолько тесно переплетенные судьбы, мнения, отношения армянских и грузинских писателей, что читателя не покидает ощущение некоторой односторонности и неудовлетворенности, порождающих естественное желание узнать и о тех грузинских авторах, которые высказались о своих армянских друзьях. Данные о них, содержащиеся в научном аппарате, понятно, не способны восполнить этот пробел. Хочется надеяться, что при повторном издании сборника это пожелание будет учтено.

Л. ТИХОНОВА



საქართველოს
 ეროვნული ბიბლიოთეკა

- ◆ ДОКУМЕНТЫ
- ◆ ПИСЬМА
- ◆ ВОСПОМИНАНИЯ

В 1926 году в Тбилиси издательство «Заккнига» выпустило в свет книжку В. Б. Шкловского «Удачи и поражения Максима Горького», а в 1927 — другую его книгу «Пять человек знакомых» (об Андрее Белом, Замятине, Пильняке, Федине, Леонове). Тогда же, в связи с пятилетием «Заккниги» (Закавказского издательского акционерного общества), Виктор Борисович написал приветствие: «Привет настоящему самоотверженному культурному издательству...», потом зачеркнул эти строки (они сохранились у меня) и составил новый текст. Это происходило в Москве, а 1 июля 1927 года, находясь в Тбилиси, он вписал в альбом Бориса Ивановича Корнеева (директора издательства) строки: «Привет Тифлису и Заккниге — нашему консульству». «Нашему», — имея в виду издававшихся здесь Маяковского, Фурманова, Кирсанова, Шагинян и, конечно же, самого Шкловского.

Книга «Удачи и поражения...» написана с большой любовью к Горькому. «...Я нежно и верно люблю Горького. Он писатель до конца». На следующей странице Шкловский повторяет: «Я нежно и верно люблю Горького. За его преклонение перед мастерством, за то, как он встречал нас, молодых

Г. БЕБУТОВ

ВСТРЕЧИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ



ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
О ВИКТОРЕ
ШКЛОВСКОМ

писателей...» (стр. 7—8). Книга была издана небольшим тиражом (4 000 экземпляров) и быстро разошлась. Написана она не скорманно, молодо и с присущей автору афористичностью мышления. Любовь не требует славословия, и этим оправдано название книги.

Первой подаренной мне Шкловским книгой оказалась не эта и не следующая за ней, а привезенная им из Москвы и уже являвшаяся тогда библиографической редкостью его маленькая книжонка «Розанов. Из книги «Сюжет как явление стиля», изданная в 1921 году издательством «Опояз». Виктор Борисович надписал ее мне при встрече 7 августа 1929 года: «Гарику Владимировичу Бебутову от автора с надеждой встретиться в Москве. Виктор Шкловский». Эта книжка явилась как бы неоднозначным ответом на мой вопрос: не оказали ли стилевые особенности розановской прозы влияние на творчество некоторых русских писателей двадцатых годов?

При той встрече Виктор Борисович много рассказывал о Хевсуретии, из поездки по которой он только что вернулся. Кое-что из рассказанного вошло потом в его книжку о горной Грузии.

В ноябре 1929 года в газете «Заря Востока» была помещена заметка о том, что Госкинопром Грузии предполагает поставить фильм по роману Юрия Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара» (сценарий Шкловского). На мой вопрос, начата ли работа, Виктор Борисович ответил: «Не разрешили». Так остался неосуществленным интересный замысел.

Однажды Виктор Борисович, остановившийся в гостинице «Кавказ» (была такая гостиница, выходившая углом на улицу Кирова и на площадь), показал мне кипу книг, приобретенных для отправки в Москву:

— Все это достал у букинистов...

В другом случае говорил:

— В числе моих четырех тысяч томов почти нет новых книг. Покупайте старые книги, они во много раз дешевле. После окончания работы о Толстом я передал Эйхенбауму около двухсот книг, относящихся к 1812 году. Другому подарил первое собрание сочинений Пушкина. Не правда ли, хороший подарок?! Я люблю делать такие подарки.

Вспомнив о чем-то, заметил:

— А все же книги выпадают, распродают и исчезают.

Заговорили о читательских интересах. Виктор Борисович находил, что в отдельных случаях читатель перерастает писателя.

— Рабочий сказал мне, что ему нравится моя «Третья: фаб-

рика» и не нравится «Сантиментальное путешествие», а это говорит о росте читателя. Ему понравилась моя самая удивительная книга. Читатель следит за современной литературой больше, чем писатель.

Виктор Шкловский часто ссылался на опыт Маяковского, неустанно стремившегося расширять сферу своего общения с читателями и слушателями путем объезда городов страны с литературными лекциями и чтением своих вещей.

Виктор Борисович заинтересовался моей мыслью о составлении сборника на тему: Маяковский и Грузия. В письме, посланном из Москвы 11 апреля 1931 года, он писал мне:

«...Из какого материала Вы сделаете книгу о Маяковском? Чрезвычайно полезно было бы поехать в село Багдады под Кутаисом, там родился Маяковский, его отец там был лесничим. Времени прошло с той поры немного. Лет 20.

Его еще могут помнить. В Багдады нужно ехать через Кутаис, туда ходит маленький омнибус очень смешного вида.

Вообще книгу о Маяковском нужно сделать не из перепечаток, и тогда она будет очень интересна.

Владимир Владимирович говорил мне, что он хорошо знает грузинский язык. При мне он говорил по-грузински несколько раз. Когда в Нью-Йорке в одном клубе приветственную речь Маяковскому произнесли по-еврейски без перевода, то Маяковский ответил по-грузински, тоже без перевода.

Всего хорошего

Виктор Шкловский».

По этому письму можно судить, как еще не изучены были тогда вопросы, связанные с детством и отрочеством Владимира Маяковского. И мог ли я предполагать, что поехать в Багдады мне доведется именно со Шкловским и на «омнибусе очень смешного вида».

Вторая половина апреля 1933 года. Один день мы провели в Кутаиси. Осмотрели заповедную чинару во дворе бывшей мужской гимназии, там же старинное здание времен имеретинского царя Соломона, храм Баграта на горе и кварталы ветхих домиков на взгорье и, конечно же, налюбовались рекой Риони, пересекающей город возле самого здания бывшей гимназии, где учился Владимир Маяковский.

В Багдады, пройдя от остановки «омнибуса» проселочной дорогой до моста через реку Ханис-цхали, мы подошли к дому Кучухидзе, где когда-то жила семья Маяковских. Здесь Виктор Борисович и я расспрашивали старожилов села о разном, но больше всего о лесничем Владимире Константиновиче Маяков-

ском, которого еще хорошо помнили. Потом мы поднялись на горку, откуда все село просматривалось во все стороны. Указав рукой на северную, где горы снижались, Виктор Борисович сказал: «Вот про ту сторону Маяковский писал: «На севере разрыв. Мечталось — это Россия».

Я много снимал, еще не овладев полностью приемами фотографирования, но получилось несколько хороших снимков со Шкловским. Снимки берегу (негативы не сохранились). Один снимок у меня выпросил А. Г. Бромберг, другой я поместил в своей книге «Отражения» (1973).

В Багдади мы хорошо провели вечер. Сидели возле дома Кучухидзе, вслушиваясь в тишину, в активную тишину южной ночи; в журчание горной реки. Перед тем как идти спать, Виктор Борисович подошел к роднику с маленькой запрудой, из которой доносилось монотонное кваканье лягушек, и, топнув ногой, крикнул: «Цыц! Маленький РАПП!» Лягушки на минуту умолкли, видимо, удивленные столь дерзким и непривычным окриком, а Шкловский весело сказал: «Вот так!..» Я упомянул об этом эпизоде потому, что Виктор Борисович вспомнил о нем ровно через 35 лет, в сентябре 1968 года, когда мы встретились в Тбилиси и долго беседовали о Маяковском, о пережитом...

Мы вернулись в Тбилиси из поездки в Кутаиси и Багдади 26 апреля. Вечером были приглашены в гости к Корнеевым. Борис Иванович попросил Шкловского рассказать о Маяковском по личным воспоминаниям. Виктор Борисович, находившийся под впечатлением от поездки на родину Маяковского, охотно согласился. Он порывисто шагал по комнате, часто останавливался и рассказывал, начиная с первых лет знакомства с Маяковским. Желая подчеркнуть, выделить что-либо из сказанного, Виктор Борисович улыбался присущей ему одному улыбкой, застылавшей на секунды как бы маской на лице.

Находившиеся в числе гостей сотрудницы редакции Евгения Григорьевна Зельцер и Анна Степановна Элиадзе, любительски обучавшиеся стенографии, стали записывать беседу, но их практические навыки в этой области не оправдали наших надежд: Из записей после расшифровки получился голый скелет беседы, и притом с некоторыми пропусками. Когда я показал Шкловскому машинописный текст «стенограммы», он очень опечалился и сказал: «Ничего не смогу сделать с этим, и второй раз так не расскажешь». Все же я сохранил эту запись, вернее, то, что получилось. Отдельные фразы воспроизведены с абсолютной точностью, нарушены связь между ними и общий настрой речи. Вот, к примеру, одна фраза: «Хлебникова Маяковский уважал, но не любил».

А Пастернака очень любил. Одним из самых больших несчастий был уход Пастернака из ЛЕФа. Пастернак один уже тогда предугадал о незащищенности будущего Маяковского.

Я снова встретился со Шкловским 1 мая, еще находясь под впечатлением от поездки в Багдади и от вечера, проведенного у Корнеева. Мы сидели в Госкинпроме Грузии, в комнате второго этажа, выходявшей окнами на проспект Плеханова. Повидаться с Виктором Борисовичем пришли молодой художник Игорь Тимофеев и его жена Тамара. Позже Игорь изобразил нашу общую встречу на гравюре. Оттиск с нее я послал Шкловскому, уехавшему в Москву.

После ухода Тимофеевых пришел к Шкловскому молодой человек, представившийся: Пантелеймон Петренко. Почти никому не известный, прибывший в Тбилиси год тому назад и еще не устроившийся, он всем видом своим и голосом оставлял странное впечатление: будто замкнувшийся в себе, отрешившийся от всего вокруг смиренный инок. Виктор Борисович выслушал его, прочел принесенные им стихи и вдруг вскипел. Таким я никогда его не видел. Он резко сказал пришедшему поэту, что много встречал таких по ту сторону рубежей, что надо перестать притворяться — играть в отрешенность от жизни... Петренко, не ожидавший такого отпора, сразу оживился, от его внешней апатии не осталось и следа. Он быстро собрался и ушел. Я считаю, что разговор со Шкловским оказался для него благотворным. Через несколько лет Пантелеймон Петренко приобрел известность как поэт-переводчик.

В начале июня того же, насыщенного для меня событиями 1933 года я получил от Виктора Шкловского письмо:

«Дорогой Гарик. Я получил Ваше письмо с очень похожим рисунком. Спасибо на письме. Я, конечно, сбился и что хорошо, что плохо, сейчас не знаю. Я наверно знаю, что плохо, но когда почти что приходится решать, что хорошо пишешь сам, а плохо пишут другие — это для себя выглядит недостоверным.

Посылаю Вам книжку свою. «Признаки делимости» еще в воздухе. Но ничего. Зовут меня в Каракумы, и у нас здесь идет такой дождь, что и в Каракумы можно поехать. Счастливое младенчество Василия Каменского приветствую. Прорезаются ли у него зубы? Но поэт он настоящий. Асеев разбился на слоги, слоги ищут друг друга, кувыркаясь. Скучно.

Кирсанов мужественно носит брюки Маяковского.

Эти традиции ему не по плечу.

Очень холодно. Дождливо. Осенью буду в Тифлисе скучать. Летом можно скучать в Каракумах или на Северной земле.

Арабский верблюд, поставленный перед такой дилеммой, спросил: неужели нет ровного места. Ему предлагали на выбор путь в гору или под гору.

На ровном месте скука.

Книги в общем прочитаны.

Жму Вашу руку. Желаю Вам счастья.

Виктор Шкловский

1 июня 1933».

Начало письма и его психологический настрой были обусловлены той резкой литературной критикой, которой подвергся Виктор Шкловский в мае 1933 года на страницах печати и на втором пленуме оргкомитета Союза писателей, за год с лишним до первого всесоюзного съезда писателей, с трибуны которого, заканчивая свою речь, Виктор Шкловский сказал: «Для передовой литературы человечества мы сделали мало. Не нужно нам от съезда одного подсчета наших успехов. Нам нужен план, нам нужно предвидение будущего, нам нужно научиться писать завтра не только на себя, а вместе с теми товарищами, которые приехали к нам с Запада, писать для всего мира — во имя нового гуманизма, против нового средневековья».

Скорый отъезд Виктора Борисовича из Тбилиси был вызван несбходимостью присутствовать в Москве в сфере литературных баталий. Упомянутый им в письме «очень похожий рисунок» — посланная мною гравюра Игоря Тимофеева. «Признаки делимости» — новое его лирическое произведение, оставшееся неизданным. Отдельные главы из этой работы Шкловский печатал позже в виде рассказов. Рукопись всей книги он дал мне прочесть, будучи в Тбилиси, и я сделал некоторые выписки из нее себе на память, о чем сказал автору.

Упомянутая в письме, но присланная мне значительно позже книга имеет дарственную надпись: «С любовью дарю книгу о Чулкове и Левшине дорогому Г. Бебутову на память о Багдадах, реке, индюках на тихой зеленой траве, дыме на горах, глицинии, цветущей в Кутаисе, на память о памяти моей о Тифлисе.

Виктор Шкловский

18 марта 1934».

В 1934 году вышла в свет изданная «Закгизом» (наследовавшим издательское хозяйство «Заккниги») брошюра В. Шкловского «Свет в лесу» с оттиснутой на переплете оригинальной гравюрой Николая Чернышкова. В книжке три очерка: «Свет в лесу» (по впечатлениям от поездки в Кутаиси и Багдад), «Млетский спуск», «Нико Пиросманишвили».



Виктор Борисович хотел включить в сборничек еще «Случай на производстве» — главу о Маяковском из своей книги «Поиски оптимизма», вышедшей в 1931 году в Москве. Но редактор издательства А. Немчинов, человек болезненный и мнительный, после многочисленных придирок к уже опубликованному тексту отверг его. Виктор Борисович в расстроенных чувствах оставил рукопись (со своей правкой и вычерками редактора) у меня. Авторская правка представит интерес для биографов Маяковского и самого Шкловского.

Виктор Борисович не раз побывал в Грузии, плодотворно работал в содружестве с ее талантливыми кинематографистами, объездил и описал многие удивительные уголки республики, хорошо знал Хевсуретию и Сванетию и, казалось мне, хотел по природным чертам и краскам Грузии постичь, каким образом возник здесь такой феномен, как будущий поэт Владимир Маяковский. Какая бы ни возникала у Шкловского тема, связанная с Грузией, она где-то перекрещивалась или перекликалась с темой о Маяковском.

Прочтите завершающие первый том трехтомного собрания сочинений Виктора Шкловского восемь страничек, озаглавленные «О солнце, цветах и любви» с подзаголовком: «Это вымысел, а не воспоминания». Да, это вымысел, фантазия, но как близок этот рассказ к действительности! В нем представлены молодой Маяковский, приехавший в 1914 году в Тбилиси, Нико Пиросманишвили и другие знакомые нам лица. Это, конечно, не воспоминания, но только по поздним воспоминаниям о пребывании в Грузии, впитав в себя ее солнце, ее краски, узнав ее людей, можно было написать эти странички любви. В конце под ними стоят даты, как обычно, даты написания: 1931—1957. Неужели так долго, целых 26 лет писались восемь страничек? Да, видимо, из года в год откладывались, накапливались в сознании автора если не воспоминания, то впечатления.

Вот почему меня несколько не удивило, наоборот, обрадовало, что в новом письме ко мне Виктор Борисович вновь вспоминает о поездке в Кутаиси и Багдади. На бланке специально образованной редакции «День мира» Виктор Шкловский писал 14 сентября 1935 года:

«Вы, вероятно, помните пожелание Алексея Максимовича о создании книги «День мира». Эта идея теперь осуществляется, и мы активно приступили к созданию книги, показывающей, как живет, что делает и как выглядит мир в один определенный календарный день. Этим днем установлено 27 сентября 1935 г.

Вы помните нашу поездку в Кутаис из Тифлиса. Сейчас для

«Дня мира» нам нужен Рионгэс. Не сможете ли Вы на этот день поехать туда?...

Нам бы хотелось, чтобы в книге было имя Маяковского. Опишите Багдады, место, где он родился, новую электростанцию в Багдадах, сбор винограда, осенние деревья на склонах.

Опишите электрическую станцию (в Кутаиси), покажите, как колеблются на измерительных приборах стрелки в зависимости от движения электропоездов на далеком Сурамском перевале. Все это очень коротко и на материале фактов именно этого дня — 27 сентября.

Книгу редактируют Горький и Кольцов.

Телеграфируйте немедленно Ваше согласие.

Сообщив о своем согласии, я двадцать седьмого утром был в Кутаиси.

Через Союз писателей Грузии редакция «Дня мира» наметила и другие маршруты. На Сурамский перевал выехал Микел Патаридзе.

На Рионгэсе со дня на день ждали приезда приемочной комиссии. Рионгэс считался во «временной эксплуатации», и многие строители уже разъехались по новым стройкам. Я занес в блокнот интересные факты процесса передачи строителями своего де-тища в промышленную эксплуатацию и выехал в Багдади.

В шесть часов вечера проводилось общее собрание крестьян. Обсуждался вопрос об организации седьмого по счету колхоза — Зедабагдадского. По предложению пожилого крестьянина Лаврентия Робакидзе, служившего в свое время в багдадском лесничестве и знавшего семью Маяковских, собрание решает присвоить новому колхозу имя поэта Владимира Маяковского, но представитель сельского Совета замечает, что Маяковский родился в нергиетской стороне села и лучше назвать его именем нергиетский колхоз. С этим мнением соглашаются. Нергиетский колхоз был создан 17 сентября, а 27-го ему присвоили имя Маяковского.

Об этом было сказано в книге «День мира». Рионгэс был затронут в очерке М. Патаридзе с Сурамского перевала.

После выхода сборника «День мира», охватившего события одного дня всех континентов и стран, прошло несколько мирных лет, а затем началась вторая мировая война. В конце Великой Отечественной войны советского народа против гитлеровской Германии Виктора Борисовича Шкловского постигло личное тяжелое горе...

Прошло почти двадцать пять лет после нашей переписки по поводу «Дня мира», и я не удивился, читая полученное от него...

письмо, что он запомнил мое имя и отчество. Письмо начинается так:

«Дорогой тов. Бебутов! Простите, что я забыл Ваше отчество, но я помню, как мы с Вами ездили в Багдады, что мы говорили.

Я думаю, что мы остались друзьями. Если Вы будете в Москве, приходите ко мне».

Далее говорится по поводу посланной ему на проверку стенограммы его выступления в дни Декады грузинского искусства и литературы в Москве:

«Простите, что задержал стенограмму. Но вот я ее передиктовал и отправляю Вам.

Конечно, здесь больше запева, чем песни; но я хотел выразить уважение не декадное, а созданное всей моей жизнью, уважение великой культуре Грузии.

В. Шкловский

14 апреля 1959 г.»

Стенограмма речи В. Шкловского вошла в составившийся сборник материалов Декады.

Составляя в 1963 году сборник воспоминаний «Дни и встречи» к семидесятилетию со дня рождения В. В. Маяковского, я запросил Шкловского: хочет ли он добавить что-либо к очерку «Свет в лесу», и получил телеграфный ответ: «Печатайте очерк свет лесу прежним текстом. Пишите. Шкловский».

В том же году, будучи в Москве, я зашел 9 августа к Виктору Борисовичу. Мы долго беседовали, перебирая в памяти события минувших лет, касаясь вопросов текущей литературной жизни. Он очень сетовал, что в издающийся его сборник «Жили-были» не вошло «Сантиментальное путешествие». Потом, указав рукой на полку с книгами, сказал: «Это все мои книги, заходите завтра — разберем их» и добавил: «Книги о Маяковском — отдельно», как бы подчеркивая этим значение, которое придавал в своей жизни Владимиру Маяковскому.

В конце 1965 года вышла в свет моя книжка «Лицом к лицу с читателем» — о вечерах Маяковского и его ответах на записки слушателей. Первый же экземпляр книжки я послал Виктору Борисовичу и с волнением ждал его замечаний, ибо продолжал работу над этой темой. И вот получаю письмо:

«Дорогой Гарегин Владимирович. Я прочитал Вашу книгу «Лицом к лицу с читателем» и, поставив на полку Маяковского, считаю ее очень нужной и ясной. Книга основана на новом материале и на живом ощущении самого поэта. Советую при ближайшем переиздании развить ту часть книги, в которой говорится о значе-

нии голоса-чтения для восприятия и Маяковского и всей поэзии, идущей от него и после него. Маяковский поэт не только написанный, но и произнесенный. Он был поборником радио, а теперь и предшественником телевидения, т. е. того возвращения к голосу, которое сближает нас с фольклором и античностью. Об этой стороне творчества Маяковского говорил Юрий Тынянов.

Все написанное Вами в книге правильно и ново, но не все еще дописано.

Приходите ко мне, когда будете в Москве.

В любимом мною всегда Тбилиси сейчас Вы самый любимый человек для меня,

Привет прекрасному, древнему и родному сердцу городу.

Виктор Шкловский.

21 февраля 1966.

Очень хочется поговорить с Вами так, как мы говорили двадцать пять лет тому назад.

В. Ш.»

Я поблагодарил Виктора Борисовича за ценные замечания, укрепившие мое желание продолжить работу, особо выделяя тему: «слышимое слово». Посылая Виктору Борисовичу вышедшую в свет книгу Кору Церетели «Юность экрана» о грузинском немом кино, я сообщал, что автором найдены интересные материалы из прошлого: сценарий С. Третьякова по повести «Элисо», работа Сергея Эйзенштейна с его рисунками и др.

К письму я приложил обнаруженные у себя среди газетных и журнальных вырезок две заметки — «Подвижные библиотеки на автомобилях» и «Война и наука», подписанные: В. Шкловский из книжных «Известий» издательства Вольфа за 1916 год.

Виктора Борисовича ожидали в Тбилиси в числе гостей на празднование 800-летия Шота Руставели, но он не смог приехать и позже написал мне:

«Дорогой Гарик. Не приехал в Тбилиси, потому что приглашения лежали в Москве, а я в Ялте дружил с Паустовским, он болен. Не хотелось его оставлять. Писал новую книгу. Когда пишешь, всегда нравится, а там увидим.

Статьи, которые Вы мне прислали, мне нужны, но писал их не я. Они брата моего Владимира Шкловского. Он вначале подписывался В. Шкловский.

Если будете в Москве, приходите ко мне. Пишите. Мир для стариков облетает. Мало листьев на нашем дереве.

Всего хорошего, милый друг.

Виктор Шкловский.

29 октября 1966.

Ночью у нас заморозки, в Ялте небо синее и только дубы пожелтели».

Через день получаю новое письмо:

«Дорогой Гарик! Простите, что пишу без отчества. Не помню, но, кажется, мы называли друг друга по имени.

К сожалению, я не попал на праздник Руставели: писал в Ялте, а приглашения ко мне приходили в Москву. Я тов. Микава сказал свой ялтинский адрес, но он за множеством дел это забыл.

Дело к Вам у меня вот какое. Я собрал книгу рассказов. В этой книге есть рассказы из книги «Признаки деления»¹. «Признаки деления» — книга, о которой Вы мне напомнили. Куски ее печатались в «Знамени», в «Тридцати днях».

Книга небольшая — в ней листов десять или немного больше.

Я хочу в нее ввести очерк «Черные щиты».

В книге есть несколько рассказов о Грузии. Я введу в нее воспоминание о Марджанишвили и о старом Госкинпроме Грузии.

В основном книга собрана. Да, забыл еще — в ней есть кусок «Свет в лесу» о Багдадах.

Я предлагаю эту книгу грузинскому издательству, конечно, для издания на русском языке.

Поговорите об этом и напишите мне, что получается.

У нас в Москве переиздают Толстого, и я направляю в издательство новую книгу о теории литературы. Совсем новую.

Ну, вот и все. Собираюсь поехать в Тбилиси.

Виктор Шкловский

31 октября 1966 г.»

Я ответил, что предложение его встречено благосклонно и что просили прислать издательству авторскую заявку и рукопись или подробную аннотацию на нее, чтобы можно было начать обсуждать. Прошло около года, и Виктор Борисович сообщает мне:

«Книга собрана. Приблизительно одна треть рассказов происходит около Тбилиси.

Конец книги (последнее десятилетие) — лучшее, что в книге есть.

Я не послал еще собранную рукопись, так как возможна подмена кусков. Хочу в конце дать (написать) такую вещь, действие которой должно происходить в Грузии и сейчас.

Тема свободная.

Хочу приехать, поискать и написать. Надо советоваться.

Может быть, кроме того напишу пол-листа о старом Госкинпроме и о Марджанишвили.

¹ Рукопись, прочитанная мною в 1933 году, называлась «Признаки делимости».

Кончаю книгу под названием «О несходстве сходного». Книга написана, я ее утрамбовываю. Едем в Париж. А что там будет, не знаю.

Книга
041935944
3024010333

Желаю удач и побед.

Виктор Шкловский

20 сентября 1967 г.»

А через шесть дней Виктор Борисович снова пишет мне, как бы продолжая и отчасти повторяя предыдущие письма:

«Письмо Ваше получено, Я подбираю книгу. Может быть, включу в нее очерк «Черные щиты» и рецензию на Чабукиани. Она небольшая. Думаю о Тициане Табидзе и Марджанове.

Живу суетно и все еще не доработал книгу.

У меня, я надеюсь, последний приступ вдохновения, и его надо не истратить даром.

Нет у меня решения для тбилисской книги: как сделать ее так, чтобы не было в ней вздоха о старой Грузии. Напишу о грузинском новом кино, но тут будут обиды...

Нет и не будет никогда в искусстве легкой работы.

У тбилисцев сейчас золотая осень с вином и каштанами. Золото листьев есть и у нас, но дождь. Мне семьдесят пять лет, и эта цифра сидит у меня в изголовье. Я знаю, что не могу быть здоровым. Толстой говорил, что старики должны пить, а я не умею. Я хотел бы пить воду Леты... Но я пишу и приговорен к памяти.

Будьте счастливы, друг.

Сейчас идет пятидесятилетие создания термина остранение — сообщение из энц. словаря.

Ваш Виктор Шкловский».

Прочитав последнее письмо, я особенно почувствовал, с какой ответственностью подходит Виктор Борисович к составлению своей книги. К тому же у него было трудное положение, ведь все, что написано им о Грузии, имело тридцатилетнюю давность, а для того, чтобы познакомиться с Грузией сегодняшнего дня, чтобы сопоставить новое со старым, хотя бы по одной Хевсуретии, о которой он писал, нужны были физические силы и здоровье. И Виктор Борисович напряженно искал решений для «тбилисской книги».

Вскоре он обратился с письмом к директору издательства Ревазу Акакиевичу Маргиани. Письмо было послано по моему домашнему адресу. Я оставил у себя конверт с датой 28.12.67, а письмо передал по назначению, предварительно сняв с него копию, поскольку оно деловое и завершает вопросы, поднятые в переписке со мной.

Вот текст письма:

«Уважаемый тов. Маргиани Р. А.!

Предлагаю издательству книгу рассказов, написанных с 1926 по 1967 гг.



Расположение рассказов хронологическое. Вместе печатаются вещи, взятые из одной публикации; каждому такому разделу предшествует маленькая заметка о том, что это была за книга.

«Третья фабрика».

«Бухта зависти».

«Поиски оптимизма» — 1931 г.

Рассказы: «Загс», «Простая жизнь», «Рудин», «Генеральский сын», «Потерянный человек» и «Дрова».

В этот же раздел я хочу включить не рассказы, а скорее очерки: «Млетский путь», «Будильник», «Нико Пиросманишвили». Все эти рассказы связаны с Грузией.

Может быть, я введу сюда же очерк о Хевсуретии 1935 года, сделаю это в том случае, если проеду еще раз по тому же маршруту.

«Поденщина» — 1930 г.: «Об одной домашней хозяйке», «История одного мальчика».

«Встречи» — 1944 г. Это рассказы военные: они начинаются описанием Алма-Аты, потом идет большой рассказ о Ржеве, «Смоленщина», «На Днепре», «О Гайдаре», «Павлов жил под Ленинградом», «Ноги», «Большой свет», «Разговор с разведчиком».

После этого идет группа рассказов из ненапечатанной книги «Признаки делимости»: «Свидание», «О действиях одного художника», «О часах», «О пшавской любви», «Передержанная и недопроявленная любовь», «О Волге и волжанах», «Трамвайный фольклор», «Княжна Джаваха», «Коридоры», «О том, как трудно отделиться от прошлого», «История женщины, вернувшейся на родину», «Память о Петербурге», «Память о Ленинграде», «Записи».

Исторические повести и рассказы: «Портрет», «В Ясной Поляне», «Второй май после Октября», «О солнце, цветах и любви», «Созрело лето».

Ненапечатанные рассказы (некоторые из них напечатаны в журналах, но не входили в сборники): «Пять», «Человек дожидается утра», «В фольварке...», «Кошка» и маленькая серия рассказов о Петре.

Всего во всей книжке будет около 270 страниц.

В книге есть противоречия стиля, потому что они написаны за 40 лет или даже за больший срок. Многие рассказы имеют свою историю, например, рассказ «Загс» лег в основу американской ленты «Дневная жена» и французской ленты «Десять заповедей». Оба эти заимствования делали без согласия автора.

Как Вы видите, есть группа рассказов, связанных с Толстым, и три рассказа, связанных с Маяковским.



Рассказ «Кошка» нигде никогда не был напечатан. Это рассказ о человеке, который переживает горе: у него убит сын на войне. Прежде я его не хотел печатать, теперь решил напечатать.

Я уезжаю на Запад и пробуду там, вероятно, 35 дней.

Жду Вашего письма к моему приезду. Я хотел бы завершить книгу рассказом о современной Грузии — тему сейчас не называю, потому что я в Грузии очень давно не был.

Желаю Вам всего хорошего, и напишите, когда Вам нужна рукопись.

Виктор Шкловский.

Ноябрь-декабрь.

С Новым годом. Задержался на Западе, и письмо пролежало на столе больше двух месяцев».

Резав Акакиевич прочел письмо и сказал, что подумает и напишет Шкловскому. А через несколько дней я узнал, что Маргиани назначен на новую должность — редактора грузинской литературной газеты...

В последний раз я встретился с Виктором Борисовичем Шкловским в Тбилиси в сентябре 1968 года, когда он приехал на празднование юбилея Николоза Бараташвили. Я пришел к нему в гостиницу «Иверия» в послесоборный час, когда у него никого не было, и мы долго сидели и разговаривали обо всем, что волновало каждого из нас, о чем хотелось высказаться, — главным образом о Маяковском. Это был разговор на всю оставшуюся мою жизнь.



ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

СОРОК лет минуло с того дня, когда отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. А память постоянно возвращается к тому трудному огненному времени. Мне уже 62 года — пора воспоминаний и раздумий, и мысли все чаще уно-

сят меня в далекие годы детства и юности. А моя юность, как и юность миллионов моих сверстников, прошла в тяжелые военные годы. Многие из них навсегда остались на поле боя, среди них и мой любимый педагог Георгий Напетваридзе. В его лице понесла большую утрату не только грузинская поэзия — не одно молодое поколение лишилось талантливого, влюбленного в свою профессию педагога, жизнь ко-

торого достойна подражания.

Известно, что успешное решение сложных задач обучения и воспитания молодежи в основном зависит от личности учителя, его идейной убежденности, профессионального мастерства, эрудиции и культуры. Однако учительский авторитет не выдается вместе с дипломом. Умение быть гибким, терпимым, мудрым и требовательным присуще подлинному воспитателю.

Нужно ли говорить о том, что знания таких учителей не ограничены рамками программы и учебника, что любой вопрос, заданный учеником, не поставит их в тупик, а глубокое содержание каждого урока, как и поставленная перед учащимися проблема, требующая ответственной и активной работы всего класса, никого не оставят равнодушным и безучастным. И дело здесь не только в огромной эрудиции и методическом мастерстве учителя, но прежде всего в его идейности, душевности и, что особенно важно, в глубоком уважении к личности ученика. Именно таким педагогом и был Георгий Напетваридзе.

Помню, как однажды, через много часов после окончания уроков, зауч школы, в которой я учился, Надежда Самсоновна Хуродзе приоткрыла дверь нашего класса и спросила учителя по литературе Георгия Напетваридзе, когда же он уходит из школы домой? Он ответил не без гордости: «Надежда Самсоновна, в школе вся моя жизнь».

Звонок. Урок окончен, но ученики домой не торопятся. Они обступают своего учителя и задают множество вопросов. Нас тянуло к нему.

Так было с первого дня, как только к нам в школу пришел после окончания в 1939 году Кутаисского пединститута преподаватель Георгий Напетваридзе. Мы сразу почувствовали, что он строг, требователен к себе и к ученикам, справедлив и дружелюбен.

Мы были в восьмом классе, когда по школе разнесся слух: новый учитель щедро ставит двойки, строго спрашивает, заставляет всюду учиться. Но за всем этим мы сразу почувствовали принципиальность и желание дать ученикам знания. Он говорил с нами о Микеланджело, о Пикассо, открывал для нас новых писателей, спорил о каждом новом фильме.

— «Нам время дорого!», «Мы взрослые люди!» — бросал он время от времени реплики, обращаясь к тем, кто ослабил внимание, выбившись из ритма урока, беспечно листает учебник.

Опыт общения с детьми и талант всегда ему подсказывали, когда можно дать передохнуть, переключить внимание, когда вновь включаться в работу.

Георгий Напетваридзе, будучи человеком высокого долга, воспитывал в своих учениках активную жизненную позицию. Для него любая тема, каждый урок был прежде всего поводом для воспитания гражданских патриотических чувств. «Куда бы ни забросила вас судьба, — учил он нас, — и каким бы тяжелым испытаниям вы ни подвергались, любовь к матери-Родине правыше всего. Во имя Родины, если будет в том необходимость, нужно отдать даже самое дорогое, что есть у человека, — жизнь!»

Георгий Напетваридзе до конца выполнил свой долг перед Родиной.

В том, что мне, грузину, проживающему за пределами Грузии, участнику войны и ветерану труда, далеко не безразлично, каков авторитет Грузии и грузинского народа в большой семье братских народов, в том, что я горжусь прошлым и настоящим моего народа, наверное, немалая заслуга моего любимого учителя.

Георгий Напетваридзе сумел дать своим ученикам заряд целеустремленности, оптимистическое мироощущение на всю жизнь. Он настолько любил свою работу, учеников — всех, самых разных, что невозможно было не испытывать благодарности и признательности к нему.

Уроки языка и литературы были для нас уроками жизни.

Помню, однажды он меня попросил нарисовать портрет Георгия Саакадзе для литературного вечера, посвященного книге «Великий Моурави». Углем на большом чертежном листе я нарисовал огромный портрет Георгия Саакадзе, а Георгий Напетваридзе написал стихотворение. Как сейчас помню, начиналось оно так: «...Гиоргий, чемо сехнило...»

У меня с Георгием Напетваридзе установились особые дружеские отношения. Я хорошо рисовал, был отличником, помогал ему оформлять стенгазету, организовывать литературные вечера, которые он очень любил проводить в школе. Я всегда старался оправдать его доверие.

После смерти бабушки я переехал в Тбилиси. С Георгием Напетваридзе мы тепло расстались и больше никогда не виделись.

Началась Великая Отечественная война, и я ушел на фронт. После демобилизации, судьба меня забросила в Среднюю Азию и до 1970 года я жил и работал там. И на фронте, и после войны я часто вспоминал Георгия Напетваридзе, этого замечательного человека и большого педагога, и все мечтал узнать что-либо о нем.

Однажды я побывал в средней школе в райцентре Вани. В вестибюле школы я замер, увидев портрет Георгия Напетваридзе. В ответ на мое удивление директор школы сказал, что до ухода на фронт Георгий Напетваридзе работал в этой школе, и вообще поэт родом из этих мест. Директор школы пригласил меня в кабинет и показал книгу небольшого формата — сборник созданных на войне стихов Г. Напетваридзе под общим названием «Даумтаврели балада» («Неоконченная баллада»), где есть строки и обо мне. Это было для меня большим сюрпризом.

Уже четыре с лишним десятилетия отделяют моих одноклассников от того дня, когда мы сказали: «Прощай, школа, прощайте, учителя!...». Но Георгий Напетваридзе мы никогда не забудем.

Отари ДЗИДЗИГУРИ
г. Майкоп.

ГУРАМ Сагараძე давно и кропотливо готовил себя к этому вечеру. Шел к нему продуманно, взволнованно и ответственно. Не спешил, не рвался опрометчиво «в бой», взвешивал свои возможности, думал не только о себе, но и о зрителе — подготовлен ли он, зритель, к такому вечеру.

Вечер требовал гармонии и полной контактности сцены и зала, обязывал к тончайшей согласованности актерской и зрительской. И, как ни странно, зритель тоже готовился к встрече с чтецом. И тоже давно. Он попросту ждал этой встречи, достаточно осведомленный о возможностях артиста, хорошо знакомого по ролям в театре и по концертам на эстраде.

Но роли в театре принадлежали иному жанру, а концерты, в которых выступал чтец с художественным словом, как правило, были «сборными» — Сагарадзе читал за вечер одно, максимум два стихотворения.

Совсем другое — концерт сольный. Здесь надо в течение двух часов держать в руках зрительный зал, быть с ним один на один, уметь подчинить его себе, владеть вниманием людей, заставить их слушать и сопереживать.

Этери ГУГУШВИЛИ

**МАСТЕР
ХУДОЖЕСТВЕННОГО
СЛОВА**

Если же учесть, что зал, в котором проходил концерт, вмещал в себя около трех тысяч зрителей, можно представить, какая огромная нагрузка ложилась на плечи одного актёра!

Гурам Сагарадзе понимал всю сложность создавшегося положения. В такой ситуации он оказался впервые и, может быть, впервые осознал, как специфично и порой неблагоприятно трудное искусство чтеца. Нет у него ни подмоги в лице партнера, с которым он мог бы общаться, устанавливать отношения, необходимые любому актеру для целенаправленного действия; нет соответствующей сценической атмосферы, связанной с развитием драматургического и сценического действия, и надо это действие выстраивать самому (проза, поэзия, они тоже требуют своей действенной основы!), без посторонней помощи. Надо жить в предлагаемых литературным текстом обстоятельствах — словом, действовать по всем законам сцены, театра.

А чтец — это тоже театр. Как принято говорить, театр одного актёра, где ему, единственному действующему за себя и за других лицу, необходимо сориентироваться в событиях, творящихся вокруг, найти точку опоры и удержать нужное равновесие.

Равновесие чтеца зависит от многих моментов. От его гражданской позиции. От понимания смысла своей профессии. От глубины постижения материала. От отношения к нему и владения словом. От ощущения адресата, к которому оно, это слово, направлено. От многого другого, что в сумме своей, вероятно, именуется понятиями дара, таланта, мастерства художника, которые необходимо постоянно шлифовать и при этом с учетом и глубоким пониманием специфики жанра.

Гурам Георгиевич Сагарадзе пришел к своему сольному вечеру во всеоружии творческих и гражданских возможностей. К этому времени не только зритель успел познать и почувствовать артиста, стал свидетелем его творческого возмужания, но, что еще важнее, сам он глубоко познал себя, свою актерскую природу, сформировался как художник, как личность. За плечами были годы учебы, работы в одном из лучших театров страны, добротные сыгранные роли, созданные с такими режиссерами, как Дмитрий Алексидзе, Акакий Васадзе, Арчил Чхартишвили, Михаил Туманишвили, Роберт Стурау. Позади были и частые выступления на эстраде, а в них общение с широкой зрительской аудиторией или, как сам он говорит, — «хождение в народ».

Об одном из таких «хождений» Сагарадзе вспоминает

с особым восторгом и трепетом. Это происходило в отдаленном грузинском селении Геби, что находится в горной Раче. Не было большого парадного зала, ярко светящихся ковров, удобных мягких кресел. Люди разместились где попало. И Гурам был потрясен не только тем, как они слушали его, буквально глотали каждое слово, летящее со сцены, но и тем, как уже потом, после концерта, во время традиционного грузинского застолья, сами читали стихи — и старики, и молодые. «Я увидел беспредельную любовь простых людей к поэзии и убедился еще раз, что поэзия живет в душе народа», — говорит артист.

Грузия — страна поэзии, и каждый третий здесь в душе поэт, слагающий рифмы и даже распевающий их. Здесь, как, впрочем, и во многих странах мира, сказители стихов ходили «в народ», жили в народе, были выходцами из него. Поэзия рождалась на улицах и площадях, в самой гуще народной жизни. Наизусть знал грузинский народ своего бессмертного «Витязя в барсовой шкуре», передавал его из поколения в поколение.

Тем более странно, что при такой любви к поэзии, к почти стихийной тяге воспроизводить ее публично, в присутствии слушателя — зрителя, искусство художественного чтения не получило в Грузии своего прочного определения. Сказанное отнюдь не означает, что жанр этот оставлен вовсе без внимания специалистов и общественности. Речь идет лишь о том, что ни один из крупных грузинских чтецов не считал для себя возможным ограничить свою деятельность только пределами этого жанра. Все они самым тесным образом были и остаются связанными с театром и кино, и никогда никто из них не уходил оттуда. В то же время, работая на эстраде «без отрыва» от основной профессии, они все не считали профессию чтеца «побочной», «вторичной», со всей серьезностью, одержимо и беззаветно отдавались эстрадной деятельности. И все-таки! Хотя искусство чтеца сочеталось с театральными ролями на уровне высокого профессионализма, первенство оставалось за последними.

Подобные сочетания породили в свое время изысканное и безупречное искусство художественного слова в творчестве замечательного актера драматической сцены Васо Годзиашвили, создавшего на стезе эстрады особый музыкально-драматический жанр. А Серго Закариадзе?! Невозможно говорить об искусстве грузинского чтеца и пройти мимо этого крупнейшего мастера слова, забыть о серьезности, с которой

приходил он всякий раз на эстраду. Вслед за ними, подхватив эстафету, идут другие — Тариэл Сакварелидзе, Яков Трипольский, Отар Мегвинетухуцеси, Ираклий Учаченишвили, Медея Джапаридзе, Нелли Килосанидзе, Георгий Харабадзе, Татия Хаиндрава, Анна Смирнова — великолепная, одухотворенная чтица, уроженка Тбилиси. Всех не перечесать! Гурам Сагарадзе — из их плеяды.

А начиналось все в самом раннем детстве. Он родился и вырос в театральной семье, находясь, можно сказать, в самой гуще театра, в окружении лучших актеров грузинской сцены. Отец его — Георгий Илларионович Сагарадзе с первых же шагов своей деятельности и до конца дней был одним из ведущих актеров театра имени Руставели, современником и сподвижником Акакия Хорава и Акакия Васадзе, их неизменным партнером. Народный артист Грузинской ССР Георгий Сагарадзе занимал свое особое место в жизни прославленного грузинского театра. Он так же, как и впоследствии его сын, никогда не рвался вперед, был скромен и неприхотлив и в жизни, и на сцене, создал много больших, а еще больше маленьких, эпизодических ролей, которые навсегда связаны с его и только его именем.

Но носил Георгий Илларионович в сердце еще одну страсть — любовь к эстраде. Здесь словно изнутри «взрывал» он свою природную склонность к незаметности, полностью раскрепощался, выплескивая наружу исподволь накопившуюся энергию. Вместе со своим неизменным партнером Степаном Джапаридзе выступал он с музыкально-драматическими куплетами, исполненными хлесткого юмора и меткой злободневности.

Сын унаследовал от отца любовь и к театру, и к эстраде. Пионерский дворец стал первым театральным поприщем школьника Гурама. Он записался в кружок художественного чтения, которым руководили режиссер Тедо Церодзе и начинающий актер театра имени Руставели, а в будущем народный артист республики Нодар Чхеидзе. Впоследствии они стали друзьями-коллегам и стерлась сама собой разница в возрасте. Но тогда юному Сагарадзе ореол их представлялся недостижимым. Пытаясь возвыситься в их и собственных глазах, он читал во весь голос, напрягаясь и пыжась, на пафосе и жестикуляции монологи. Антония и Брута. К полному недоумению чтеца все вокруг задыхались от смеха — слишком уж явно выширало несоответствие фактуры и габитуса пионера избранному материалу и манере исполнения.

И все-таки, как вспоминает сегодня Гурам Георгиевич, увлечение патетикой и пафосом долго не покидало его, и только со временем «страсти» в нем улеглись. Случилось это в стенах театрального вуза, куда он поступил в 1947 году в класс профессора Дмитрия Александровича Алексидзе. Замечательный режиссер и педагог привил своему ученику высокое чувство сценической правды, научил понимать законы проникновения в психологию образа, преподавал навыки ощущения острой, подчас причудливой театральной формы.

Сценическую речь в институте вела Малико Николаевна Мревлишвили, в прошлом ученица Марджанишвили и актриса его театра, а впоследствии профессор, заведующая кафедрой речи. Человек огромной души и тонкого сценического вкуса, именно она увидела и развила в своем ученике ту самую «чтецкую стихию», на стезе которой Гурам Сагарадзе не просто преуспел, но и обрел свою вторую театральную жизнь.

Для Малико Николаевны Гурам всегда был предметом ее педагогической гордости. Она писала впоследствии: «Еще в стенах театрального института, будучи студентом, Гурам с жаром занимался предметом художественного чтения и нам нетрудно было предугадать в нем многообещающего чтеца. Его благородный, красиво мужественный голос, легко и разнообразно моделирующий, четкая дикция, правильное владение фонетической и ритмо-мелодической природой грузинской речи, эмоциональность, темперамент и артистизм — все эти качества позволяли нам говорить о нем с уверенностью. Но разве не было в институте других студентов, которые тоже обладали незаурядными речевыми и творческими качествами?»

Победа Гурама в том, что он не дал заглохнуть своему таланту и, созрев, заговорил с эстрады «полным голосом»¹.

Когда-то Котэ Марджанишвили сказал: «Театр должен улавливать темп современной жизни».

Для Гурама Сагарадзе — актера драматической сцены и актера-чтеца, — так же как и для многих его соотечественников и коллег, эти слова стали путеводной звездой. Уловить время — значит уловить то, чем живет его современник, найти пути к его сердцу, познать его запросы, почувствовать дыхание эпохи и суметь отразить ее в своем творчестве.

«А как же иначе жить в искусстве?! Право выхода на

¹ «Заря Востока», 19 ноября 1966 года.

зрителя, право вступать с ним в непосредственный контакт, вести задушевный разговор дано лишь тому, кто оснащен знанием своей эпохи, кто ею дышит.

Это — слова Гурама Сагарадзе, его позиция. Вот что и пригодился артисту-чтецу «полный голос», о котором с благодарностью говорит его педагог. Голос никогда не изменял ему. С особой, всепокоряющей силой звучал он и в тот первый вечер в огромном филармоническом зале...

Может показаться странным, что для анализа творческого облика чтеца использован именно этот сагарадзевский вечер. Разве не было у актера других вечеров? Разве не выступал он огромное множество раз со своими многочисленными программами в разных и притом отдаленных уголках Грузии, в самом Тбилиси, в Москве, за рубежом? Но все дело в том, что «галла-концерт» Гурама Сагарадзе в многоместном зале был не только сольным выступлением артиста, но и вобрал в себя весь его прежний артистический опыт, отразил и обобщил пристрастия, а вслед за ними и безграничные возможности чтеца.

Вечер начался шедевром современной грузинской поэзии — стихотворением поэта Ираклия Абашидзе «Голос у Катамона». Оно прозвучало в магнитофонной записи, прозвучало взволнованно, задушевно и мудро, сделав внушительную заявку всему концерту. Как его эпитафия. На фоне этой записи из темноты портала освещенный снопом света вышел сам чтец. Словно вслушиваясь в звук собственного голоса, медленно направился он к рампе и начал читать.

Режиссер вечера А. Чхартишвили придавал концерту соответствующую форму, используя световые и панорамные эффекты, музыкальное сопровождение, «игру» занавеса, попеременно «отсекавшего» то одну, то другую части огромной сцены, обыграл по возможности мизансцены. Все это вносило в действие не только внешнее, но и смысловое разнообразие, в целом способствовало живому восприятию литературного материала. Более того — его драматургии, его действенной канвы.

Материал был огромен, почти необъятен и потому безусловно нуждался в драматической, действенной выстроенности. С каждым новым номером (а точнее — поэтом) все четче вырисовывалась позиция чтеца.

Стихи, прочувствованные чтецом, звучали темпераментно и страстно. И если вдуматься глубже, что же стало объединяющим в сценическом выражении концерта и его замысла,

так это не только мастерство исполнителя и режиссерское обрамление, но прежде всего пристрастие чтеца к патристической, гражданской теме — она определяла весь настрой вечера.

«Меня всегда тянет к себе тема патриотизма», — признается Гурам Георгиевич. Он ищет ее и в эпическом, и в лирическом жанрах, в поэмах и балладах, в стихах и в прозе, в миниатюрах. В сольном концерте он пожелал сконцентрировать свое и зрительское внимание на этой теме.

Но тема как таковая существует для чтеца не «сама по себе». Он воспринимает ее сквозь призму глубокого психологического осмысления текста, в тесной связи со своими внутренними, эмоциональными ощущениями.

...Неудивительно, что первым после экспозиции прозвучал на вечере Руставели. Великий гуманист и мыслитель, воспевший мужество, героический дух своего народа, возвышенные мечты о свободе и торжестве справедливости, находит и сегодня живой отклик в духовном мире прогрессивного человечества.

У каждого есть «свой» Руставели. Но не каждому дано уловить и, уловив, передать интонационное разнообразие и подлинную полифоничность шестистопного руставелевского «верхнего» и «низкого» шаири. Руставели, по меткому определению критика-литературоведа Бесо Жгенти, — «чародей поэтической звукозаписи, музыкальной организации стиха, его оркестровки», требует особого музыкального слуха исполнителя, особой чуткости его душевных импульсов, голосовых модуляций, образности видения.

Сложность постижения поэмы связана не только со сложностью ее фактуры, глубинной философской мудростью, но, что парадоксально, и с удивительной простотой, доходчивостью и первозданной ясностью всех ее компонентов и составляемых. Ясность и простота предполагали полную раскованность мысли и речи, свободу и естественный размах актерских приспособлений, обеспечивающих точное попадание исполнителя в нужную интонационную стихию.

Гурам Сагарадзе постиг этот «парадокс» художественного строя поэмы и раскрыл все ее богатство в широком эпическом плане. С достоинством, степенно и чуть распевно читал он отрывок из поэмы, отлично сознавая, что «вырванный» из целого фрагмент не в состоянии отразить сплетения необъятных проблем, отраженных в ней, таких, как справедливость и несправедливость, честность и бесчестие, любовь

и ненависть, дружба и предательство, патриотизм и трусость, добро и тирания, бессмертие и смерть.

Пройдут годы, и актер целиком запишет на пластинку творение великого поэта, и тогда во всей полноте встанет перед слушателями драматическая и вместе с тем ослепительно прекрасная эпоха Руставели со множеством действующих в ней лиц, с судьбой каждого в отдельности и через них — с судьбой народной. Сплетение событий и имен, мыслей, чувств и переживаний, лабиринт сложных и проблемных коллизий найдут в лице Гурама Сагарадзе тонкого, проникновенного и мудрого интерпретатора, познавшего сполна «секреты» Руставели.

За Руставели шел Бараташвили. Актер читал «Мерани». Читал, как и следовало ожидать, проникновенно и мужественно. Неожиданной была лишь сдержанность, с которой произносил он текст. Будто нарочно «придерживал» стремительный бег скачущего коня и такой же стремительный ритм стихотворных строк, его воспевших.

Странное несоответствие актерской сдержанности «взрывной» силе бараташвилевского «Мерани» ничуть не снижало звучания стихотворных строк. По принципу «несовместимости» и единоборства двух противоположных начал сдержанность чтеца причудливо соединялась с бешеным ритмом и возвышенным романтическим порывом бессмертного творения поэта, создавая эффект зримой картины вздыбленной скачки Мерани, устремленного в даль, в неизвестность, если угодно — в будущее.

А потом был Лермонтов. Особую близость к Грузии великого русского поэта хорошо подметил в свое время Бесо Жгенти. Выступая в Большом театре Союза ССР на 150-летнем юбилее поэта, он сказал: «В теории мировой литературы едва ли можно найти пример такого широкого вторжения в творческий мир поэта тематики жизни и быта другой нации, как в творчестве Лермонтова»¹.

Критик имел в виду прежде всего «Мцыри» и «Демона».

В поэтическом театре Гурама Сагарадзе эти два произведения занимают почетное место. В них слышит артист зов родной земли, сердцем чувствует сердце поэта, энергию его слов, юношеский голос, звучащий из глубины веков.

Оценивая исполнение артистом лермонтовских поэм,

¹ «Правда», 16 октября 1964 года.

критик В. Кикнадзе писал: «Кажется, что произносит он не лермонтовские слова, а свои собственные, будто видел и пережил все сам и теперь хочет поведать боль души слугам телям»¹.

Слияние с первоизданной сутью материала, полная растворяемость в нем давно уже стали природой артиста. Сам он говорит: «Больше всего мне это удается в поэзии Галактиона Табидзе». Здесь сокровенные думы чтеца соединяются с большой темой века, его, сагарадзевская, одухотворенность, лирика, элегичность — с напряжением воли, несломленностью духа.

...Для исполнения в том концерте актер подобрал несколько стихотворений поэта — «Поэзия — прежде всего», «Знамена», «Я и ночь», «Лазурь, или роза в песке», «Ветер дует», а также отрывок из поэмы «Беседы о лирике», — и читал их подряд, без пауз, «залпом», как бы «вплетая» одно стихотворение в другое.

В словах чтеца слышатся и мольба, и заклинание, и настойчивость призыва. Но он не декларирует, скорее размышляет о судьбах поэзии, и размышления его — на уровне высокой гражданской поэзии.

Глубоко потрясают страсть и воля артиста в исполнении стихотворения Г. Табидзе «Знамена».

Гурам Сагарадзе вложил в давно уже ставшее хрестоматийным стихотворение особый, отнюдь не декламационный смысл, стличный ст того, что делалось прежде и обернулось привычной традицией. Чтец уловил дух изменившегося времени и придал стихотворению соответствующее толкование. В устах Сагарадзе звучит интонация дружеского призыва, совета, просьбы, основанных не на приказах и окриках, а на взаимном человеческом понимании, уважении, без которых никакого движения вперед состояться не может. И если учесть, что голос чтеца, несмотря на спокойную мягкость тона, непреклонен, исполнен твердости и веры в философский социальный смысл призывного клича, сосредоточенная серьезность его обеспечивает точность посылы и меткое попадание в цель.

Таковую же необычную трактовку дает Сагарадзе и стихотворению «Я и ночь». Актер отказывается от привычного для многих чтецов повествовательного тона — он не повествует, не описывает душевные переживания поэта, томящегося

¹ Кикнадзе В. Сто поэтических масок. В сб.: Поэзия—прежде всего. 1979, с. 52 (на груз. яз.).

в ночной тиши. Безупречность интонационных пропеваний, беглая, зыбкая, быстро скользящая поступь речи актера рожают атмосферу поэтического осмысления событий одной ночи, создают удивительно эмоциональную картину сложного процесса творчества. Возникает образ ночи и влетающее в него тайнословие поэта.

Последние слова стихотворения Сагарадзе произносит на совершенном пианиссимо, едва-едва шевеля губами, беззвучно, сопровождая почти безжизненные звуки движением кисти руки, устремленной ввысь.

В исполнении артиста-чтеца поражает прежде всего равномерный расклад всех «слагаемых» текста, распределение интонационной нагрузки, разнообразие оттенков звучания вплоть до непредвиденных, порою неожиданных и поражающих. Вот, к примеру, «Раздолье» Ладо Асатиани, прочитанное на том же сольном вечере. Сагарадзе исполнил его совсем не в привычной для слуха интонации. Он читал, не отчеканивая каждое слово, без выпренности и нажима, напротив — стремительно и легко, с чуть заметной улыбкой, даже задорно.

В задоре крылись и дерзость, и вызов. Стихотворение, рассчитанное на зычные звуки, на пафос и силу, прозвучало как душевное излияние самых сокровенных человеческих чувств. В нем слышалось доверительное отношение ко всем сидящим в зале и желание поделиться с ними общими заботами, глубоко выстрадавшими. Подход к материалу и тут оказался необычайно современным.

Критик Н. Гурабанидзе верно подметил, что чтец Сагарадзе никогда не бывает идилличным, что в его исполнении всегда ощущается конфликтность ситуации.

В самом деле, идилличного, «размякшего» Сагарадзе никто ни разу не видел. Но вот вопрос: что можно понимать под конфликтностью исполнения? Разумеется, не конфликтность, заложенную в самом произведении, — она, как говорится, существует «сама собой» и передать ее в силах любой квалифицированный чтец. Но вот конфликтность «актерская», «чтецкая», она живет не только в связи с материалом, но и независимо от него и заключается в активной, неутомимой жажде чтеца утверждать свою концепцию произведения, свое, если угодно, единоборство с умеренностью текста или, напротив, с его «громкостью». Словно следуя совету Станиславского: «играя старого, ищи, где он молод», Сагарадзе старается убрать «пафосность» там, где она, каза-

лось бы, налицо, нарочито приглушая слова, способные породить мощное форте.

Конфликт наступает моментально и создает отнюдь не идиллическую атмосферу действия, порождая внутреннюю напряженность текста, его динамику. Приведенные выше примеры подтверждают сказанное.

Когда однажды Гураму Георгиевичу задали вопрос, кто же является для него идеалом чтеца, он не задумываясь ответил: Серго Закариадзе. Неуместность дальнейших расспросов была очевидна — все было ясно без лишних объяснений. В Серго Закариадзе молодого по сравнению с ним Гурама привлекала сила убеждения, некая внушительная, всепокоряющая властность мастера, умение подчинить себе зрителя-слушателя, полностью овладеть вниманием каждого, поразить партитурой замысла и его воплощения.

Для Гурама Сагарадзе были важны эти качества чтеца и, хотя он никогда ни в чем не подражал своему идеалу, авторитет и опыт старшего коллеги были для него незыблемы. Сагарадзе учился у Серго Закариадзе искусству художественности, железной логике мысли, связанной с глубинным постижением текста, с эмоциями, душевностью и вдохновением. Он учился у него **отношению** к делу, к своей профессии.

Подобно Закариадзе Гурам Сагарадзе воспринимает каждое свое появление на концертной эстраде как **процесс творчества**, который требует полной и беспредельной отдачи.

Слушая Сагарадзе, всякий раз думаешь о том, как весомо, достойно и точно звучит каждое его слово, свободное от штампов, от трафаретных, заученных интонаций. Тонко чувствует актер смысл и красоту фразы, чутко и проникновенно относится к литературному материалу, умеет дать ему свою, неожиданно свежую и современную интерпретацию. Весь этот комплекс художественных достоинств актера-чтеца — и слово его, и голосоведение, и элегантная статность осанки, и все остальное, что составляет арсенал выразительных средств, — преподносится естественно, просто и непринужденно, словно рождается здесь же, на глазах у зрителя, в присутствии свидетелей и вовсе не «запрограммировано». И понимаешь: это — мастерство, рожденное не только «даром небес», но добытое трудом, раздумьями, завоеванное в схватках с жизнью.

Сагарадзевская простота, естественность и благородство облачаются также просто и естественно в только ему прису-

щую форму, ритм чтения, в отточенность строки, слов, слетающих с губ.

Для каждого из поэтических образов, точно так же как и для каждого из писателей, произведения которых он исполняет, Сагарадзе находит свои краски и особое осмысление, неповторимую, единственно возможную сценическую атмосферу. Совсем как в театре, в драматическом спектакле...

Ощущение стихотворной строки, ее музыкально-ритмической выстроенности помогает артисту образно перевести их в сферу своего актерского искусства. Он сам становится поэтом собственных интерпретаций, наделяет их своим видением, своей интонационной окраской и, что самое главное, своим миропониманием.

Но у Гурама Сагарадзе — не только своя интонация, свое понимание литературного материала. В нем живет и огромная, прочно утвердившаяся убежденность во всем том, что он создает. Его трудно поколебать, трудно переубедить. Если он «прожил», осознал, осмыслил материал и сделал его «своим» (а Сагарадзе утверждает, что не представляет себе работы над литературным и драматургическим текстом, если текст не задел его за живое, если не видит в нем отклика на боль собственного сердца), он не в силах с ним расстаться, изменить трактовку, отношение к нему.

Совсем недавно на 80-летнем юбилее Бесо Жгенти Гурам Сагарадзе прочел стихотворение Галактиона Табидзе «Беседы о лирике», в котором спор о лирике ведут два великих грузинских поэта — Акакий Церетели и Важа Пшавела. Но, прежде чем начать читать стихотворение, Гурам Георгиевич сказал несколько добрых слов о человеке, памяти которого был посвящен вечер. Актер вспомнил, как в свое время критик сделал ему замечание по поводу интерпретации этого произведения и дал дружеский совет не читать его с эстрады. «Слишком уж невыгодно выглядит в нем Акакий Церетели, а художественное чтение, его сценический эффект усиливают невыгодность впечатления», — вспоминает Сагарадзе слова критика.

И начинает читать именно это стихотворение. Многим показался странным такой оборот событий, но в нем была своя логика. Задушевный разговор с критиком запал в душу, но не изменил намерений чтеца. Он оставался верен своему решению. И даже здесь, на юбилейном вечере, оставшись при своем мнении, он продолжал диалог с ушедшим старшим другом, которого любил бескомпромиссной и нежной любовью.

и спор с которым носил в себе как доброе поэтическое воспоминание...

Нетрудно догадаться, что и отклик сердца, и боль о которых любит рассуждать актер, отнюдь не однозначны, они могут обернуться сочувствием и несочувствием, добротой и гневом, любовью и ненавистью, но корни их непременно будут связаны с нравственной, этической, гражданской сутью его личности.

Вот тут-то и выступает на арену активность чтеца, выстраданное отношение его к произносимому тексту. В активности непременно живет сегодняшнее, современное осмысление им событий и образов, умение мыслить метафорически, владеть в совершенстве брехтовским приемом остранения.

Брехт вошел в театральную жизнь Гурама Сагарадзе органично и свободно. Не страшили никакие условности, вносимые режиссурой эпического театра. Широкое пользование вольными отступлениями от жизненно-бытовых оправданий сценических приемов помогали ему свободно и дерзко выстраивать свои художественные концепции, выражать согласие или несогласие с тем или иным сценическим явлением.

Основа для того была достаточно прочной, шла издалека и связана с исконным тяготением актера к сценической правде, к психологии.

«Я люблю копшиться в тексте и извлекать из него психологический смысл. Вне психологии для меня нет творчества», — говорит Сагарадзе.

Сказанное относится и к театральным ролям артиста, и к его роли чтеца. Почти трагический сагарадзевский шут из «Короля Лира» не только развлекал окружающих, но и был мыслителем, глубоко чувствующим человеком. Именно человеком, личностью — трагической личностью — прежде всего! Вдохновением и трепетом веяло от его Николоза Бараташвили, поэта-романтика в одноименной пьесе М. Мрвлишвили — поэзию Бараташвили актер носил в душе. Глубоко волновал в исполнении артиста романтический, одухотворенный Юлий Цезарь — актер раскрывал человеческую сущность героя, природу его сложных чувств...

«Полный голос» артиста никогда не отличала выпрепняя напыщенность тона. В институте он понял раз и навсегда: надо читать просто, доходчиво, душевно, без позы и прикрас, без нажима и отяжеляющих выкриков.

Но в то же время исполнительский стиль грузинской романтической актерской школы, в пределах которого форми-

ровалось его чтецкое искусство, предполагал повышенную эмоциональность исполнения, подъем, воодушевление, не терпел простецкости, прозаизма, приниженности. Спрашивается, как же совместить тяготение к строгой продуманности формы исполнения, к отточенности всех выразительных средств?

Ответить на этот вопрос — значит объяснить чтецкий феномен Гурама Сагарадзе. Предельная наполненность, романтическая окрыленность возникают в исполнении чтеца как результат глубокого постижения и обоснования литературных данностей, умения окунуться в их стихию, постичь дух произведения, его правду.

...И вот он, сольный вечер, — своеобразный итог пройденного и мостик к новым сольным вечерам, к новому творческому восхождению.

На вечере звучали строки классической поэзии Ильи Чавчавадзе, Акакия Церетели, Важа Пшавела, Саят-Новы, стихи Шандора Петефи в блестящем переводе Григола Абашидзе, а также современная грузинская поэзия — стихотворением Мухрана Мачавариани «Пусть идут» завершилось первое отделение. Стихотворение тематически было связано с композицией всей программы, прозвучало как надежда и напутствие нашей молодежи, идущей вперед, в будущее.

Казалось, что давно уже исчерпаны возможности одного концерта и роли в нем одного чтеца. Но впереди зрителя ожидало новое откровение: «Эгмонт» Гёте-Бетховена.

Гурам Сагарадзе завершал им свой вечер. Оркестр, ведомый опытной рукой дирижера Джансуга Кахидзе, играл Бетховена, артист читал взволнованные строки Гёте. Он вложил в них всю душу, темперамент, страсть — всего себя.

* * *

«Когда я читаю со сцены, — говорит Сагарадзе, — и вижу зачарованные лица, понимаю: они слушают не меня, они слушают стихи. И тогда я чувствую, что нужен им. Нужен, потому что им нужна поэзия, а в моем лице они видят посредника между ею и ими».

Посредничество артиста с годами стало для него смыслом жизни, духовной потребностью.

По неписаным законам «притяжения» оно обернулось и духовной потребностью широкого зрителя.



ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ и важным событием в культурной жизни Грузии XIX столетия явилось основание в Тбилиси театра, который фактически и положил начало грузинскому оперному искусству.

Событие это произошло в 1851 году. На главной площади города (ныне площадь Ленина) было сооружено грандиозное здание — Караван-сарай, в котором помещался и театр со зрительным залом на 700 человек (архитектор Скудиери, художественное оформление интерьера — художника Гагарина).

Поскольку в Тбилиси в то время не существовало постоянной труппы, командированный Николаем I в качестве художественного руководителя нового театра русский литератор граф В. Соллогуб предложил пригласить на сезон итальянских оперных артистов. Остальные члены дирекции театра не поддерживали Соллогуба, опасаясь, что оперная музыка не будет иметь успеха у тбилисской публики. Однако Соллогубу удалось склонить на свою сторону наместника, князя Воронцова. Специально учрежденная временная комиссия приняла предложение Соллогуба. Было решено «пригласить в виде опыта

Александр ЧХЕИДЗЕ

ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА В ГРУЗИИ

на зимнее время итальянскую труппу... под руководством ак-трепреенера и дирижера Барбиери». В Таганрог, где тогда на-ходился Барбиери с труппой, был направлен чиновник кан-целярии наместника Булатов для заключения контракта. Од-нако в Таганроге он узнал, что труппа выехала на гастроли в Новочеркасск. Он поспешил в Новочеркасск, где и заклю-чил предварительное соглашение с Барбиери. Окончательно контракт был заключен 20 сентября 1851 года. По этому контракту с 1 ноября 1851 г. по 10 февраля 1852 г. Бар-биери обязывался дать в Тифлисском театре тридцать пред-ставлений двенадцати итальянских опер на выбор дирекции театра.

9 октября итальянская оперная труппа в составе 24 че-ловек, утомленная долгой дорогой, благополучно прибыла в Тифлис, где ее ожидали с большим нетерпением.

Тифлисские любители театра знали итальянских арти-стов лишь по отзывам столичных газет. Теперь же им пред-стояло самим убедиться в их мастерстве. Через десять дней после их приезда в газете «Кавказ» появилось официальное объявление: «Дирекция Тифлисского театра, пригласив на ны-нешний сезон итальянскую оперную труппу г. Барбиери, имеет честь объявить, что с 9-го числа будущего ноября открывается абонемент на представления итальянских опер в здании но-вого театра на Эриванской площади. Абонемент разделяется на две очереди, каждая в 12 спектаклей. Представления пер-вой очереди назначаются по пятницам, а второй — по втор-никам. В течение сезона представлены будут: «Лючия ди Лам-мермур», «Норма», «Севильский цирюльник», «Любовный на-питок» и другие оперы».

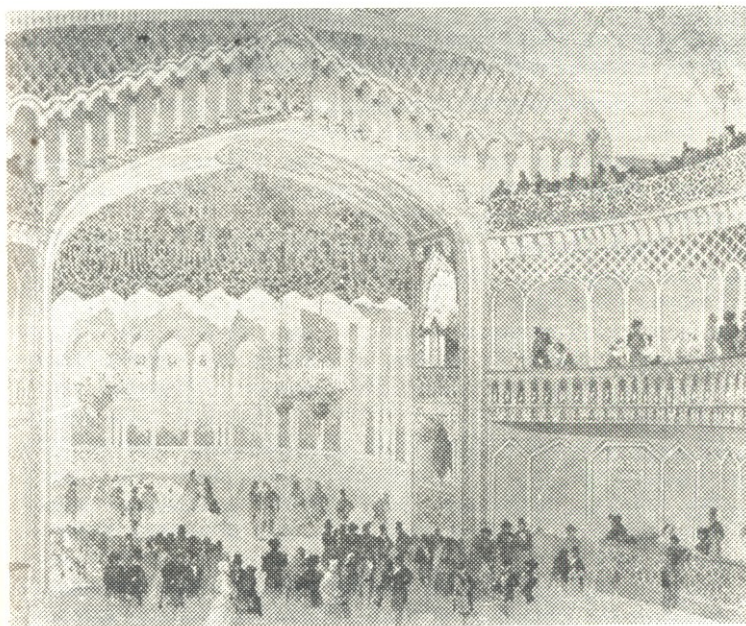
И вот настал день премьеры. 9 ноября 1851 года в Тифлисе в роскошном зале нового театра впервые прозвучала итальянская музыка. Сезон начался с «Лючии ди Ламмермур».

В театре не было ни одного свободного места — ло-жи, кресла и балконы были переполнены. На спектакле при-сутствовал весь цвет грузинской столицы во главе с намест-ником Кавказа Воронцовым и высокопоставленные гости из разных стран, среди которых был персидский принц Бехмен-Мирза со своей свитой. На первом спектакле присутствовали генерал-адъютант поэт Григол Орбелиани, драматург, созда-тель грузинского реалистического театра Георгий Эристави, азербайджанский драматург и поэт Мирза-Фатали Ахундов, дочери поэта Александра Чавчавадзе — вдова А. Грибоедова Нина и ее сестра Екатерина в сопровождении мужа, власти-

теля Мингрелии генерал-лейтенанта князя Давида Дадияни, директор театра граф В. Соллогуб, художник Г. Гагарин и многие другие. В зале находился и никому тогда не известный Лев Толстой, который с интересом наблюдал за колоритной фигурой экс-наиба Шамиля — Хаджи-Муратом, героем его будущего рассказа, написанного Толстым через 45 лет.

Вот что писал о публике на галерке рецензент газеты «Кавказ»: «Верхняя галерея, тридцатикопесчные места, набита битком, и множество мальчишек, раскрыв уста, жадно вперив свои большие черные выразительные глаза, внимательно вслушивались в музыку и пение, дивились диву невиданному, даже иногда подхватывали аплодисменты партера, а затем, уже на улицах, эти «бичо» (представители низов народа — А. Ч.), беспечно идя домой, или занятые какой-либо работой, пробуют напевать мотивы, которые глубоко запали в память, легче пришли к их голосу...»

После первого же акта все сомнения и опасения скепти-



Тифлисский театр в здании Караван-сарая.

Рис. Г. Гагарина.

ков относительно провала итальянской оперы в Тифлисе раз-
велись.

Публика была в восторге не только от блестящего исполнения солистов, хора и оркестра, но и от великолепных декораций, написанных бывшим декоратором парижской Гранд-Опера Дербезом.

Тифлисские поклонники музыки горячо приветствовали начало новой музыкальной эры в театральной жизни города, оказавшей впоследствии большое влияние на всю последующую музыкальную культуру Грузии.

После спектакля грузинская аристократия устроила в честь итальянских артистов бал.

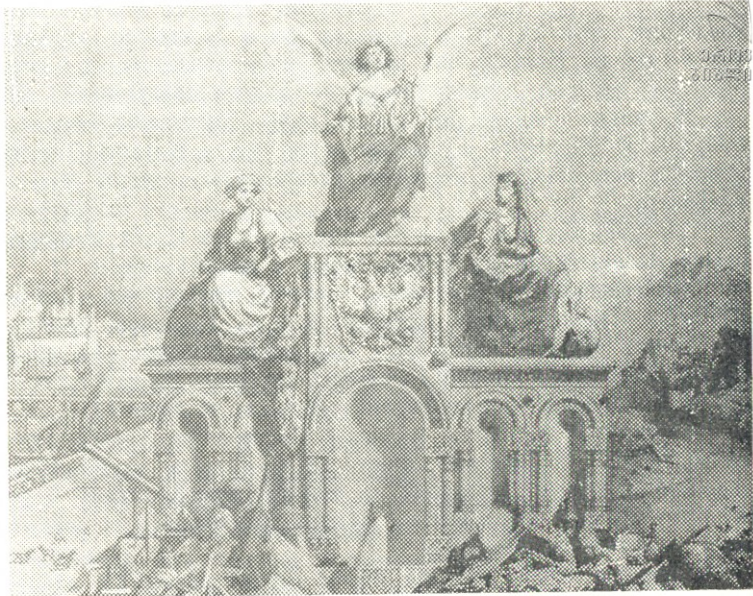
На другой день все газеты города посвятили восторженные статьи итальянской опере, а некоторые бывалые рецензенты даже делали сравнения с петербургской, берлинской и венской оперой. Газета «Кавказ» сочла нужным разослать своим подписчикам в подарок либретто «Лючия...» в русском переводе.

За «Лючией ди Ламмермур» последовали оперы «Эрнани», «Севильский цирюльник», «Норма» и другие.

С каждой новой постановкой все увеличивались успех и популярность итальянской музыки. Но из всех опер тифлисы отдавали предпочтение опере «Норма», а примадонна Юлия Меноцци, представительница новой итальянской школы пения, стала кумиром публики.

Граф Соллогуб после закрытия сезона выступил в пресе со статьей, где писал: «Прибывшая в нынешнем году в Тифлис итальянская труппа нашла, напротив, здесь неожиданный и замечательный отголосок, она обнаружила вдруг в здешней публике не любовь к новизне, как многие полагали, а редкое чутье, инстинктивное понятие прекрасного. Во время бывших до масленицы 29 итальянских представлений ни одно искреннее выражение неподдельного чувства, ни один музыкальный номер, исполненный отчетливо, не оставался без знаков... одобрения. Сама труппа, удивленная неожиданным приемом, усилила свои старания, и весьма было любопытно видеть, как певцы совершенствовались от публики, как публика заимствовала от певцов верные, хотя и безотчетные понятия об искусстве. С каждым представлением восторг усиливался по мере того, как представления становились удовлетворительнее».

Да, действительно, успех итальянской оперы в Тифлисе



Занавес Тифлисского театра работы художника Г. Гагарина.

не был лишь дагью моде. В Грузии во все времена были ценители большого и настоящего искусства. Грузия обладала богатейшим вокально-хореографическим наследием, тысячами складывались традиции хореографического исполнительства, составлявшие поистине национальную гордость грузинского народа.

Первый сезон тифлисской оперы закрылся оперой «Лукреция Борджиа». Успех итальянской оперы в первый же сезон ее существования в Тифлисе убедил дирекцию театра в необходимости не только продления контракта на сезон 1852-1853 годов, но и в принятии экстренных мер к увеличению оперной труппы. Дирекция театра с согласия наместника Воронцова командировала Барсиери и капельмейстера Шенинга в Италию, снабдив их деньгами для ангажирования там на сезон 1852-1853 гг. певцов, певцов и хористов, а также для приобретения костюмов и прочего реквизита.

Когда в Италии стали формировать оперную труппу для тифлисской оперы, некоторые итальянские газеты, желая запугать артистов, напечатали, будто итальянским артистам

предстоит ехать 24 дня по морю, а затем 5 дней на верблюдах и что на Кавказе они встретят нецивилизованный народ, попросту дикарей. Однако этому не многие поверили.

В начале октября 1852 года через Константинополь и Редут-Кале Барбиери и Шенинг вернулись в Тифлис. С ними прибыли восемнадцать итальянских артистов и целый фургон реквизита.

Из прошлогодних артистов остались г-жа Юлия Меноцци, певцы Пасхалий Вилла, Иосиф Викки и многие другие.

Ко всеобщему сожалению, в конце прошедшего сезона навсегда оставила сцену примадонна г-жа Каролина Барбиери. Состав труппы пополнился супругами Рамони (Аделаида Рамони и баритон Гиушино Рамони), сестрами Луизой (сопрано) и Аделаидой (меццо-сопрано) Вазолли и другими.

К приезду Барбиери дирекция Тифлисского театра успела выписать из Парижа известного машиниста сцены Геде, который переделал полсцены по новому, французскому методу, что давало возможность менять декорации и устраивать сценические эффекты.

Оперный сезон начался очень торжественно 18 ноября оперой «Лукреция Борджиа». После «Лукреции» последовали оперы «Норма», «Эрнани», «Линда ди Шамуни», «Сомнамбула» и другие.

Все спектакли шли с аншлагом, город был объят оперной лихорадкой. Каждый хотел попасть в оперу. «Тифлис становится музыкальным городом, — восклицает газета «Кавказ» в юмористическом фельетоне, — еще немного, и он даже будет итальянским городом. Куда ни повернешься — все слышатся итальянские напевы. Итальянская оперная музыка становится все ближе самым широким кругам населения. На улице знакомые, встречаясь, уже не спрашивают, как обычно, о здоровье, а спрашивали: «Есть ли у вас место в опере?».

Многие стали завсегдатаями оперы и знали наизусть целые арии. Однажды, когда шла опера «Норма», артист, исполняющий басовую партию, забыл слова. И тогда положение спас один из зрителей, который из партера на ломаном итальянском языке подсказал артисту слова арии.

Сезон 1852-1853 года закончился постановкой оперы Мейсербера «Роберт-Дьявол», которая после «Нормы» становится самой популярной у тифлисцев. Дирекция театра, идя навстречу пожеланиям публики, ставила ее многократно, и театр всегда был переполнен.

Следуя театральным традициям крупнейших музыкаль-

ных городов Европы, тифлиские театралы стали собираться в лагерь поклонников тех или иных артистов. Так, после первого спектакля «Роберт-Дьявол» публика разделилась на два лагеря: поклонников примадонны Рамони и ее мужа «рамонистов» и поклонников сестер Вазолли — «вазолистов». У каждого лагеря были свои энтузиасты, готовые постоять и за себя, и за свои убеждения. И те и другие в день спектакля опустошали цветочные магазины, а заодно и тифлиские оранжереи.

На масленицу всем было заранее известно, что ожидается «великое сражение»: «рамонисты» и «вазолисты» входили в театр, бережно прикрывая платками букеты цветов с длинными лентами с красочными надписями-приветствиями.

Противоборствующие стороны многозначительно переглядывались... Поднялся занавес. На сцене появилась госпожа Рамони, раздался гром рукоплесканий и восторженные приветствия, посыпались букеты. Вышла госпожа Вазолли и — новый зал аплодисментов, новые приветствия, новые цветы. К концу спектакля восторженный зритель рассудил спор справедливо. Все пришли к единому решению — и госпожа Рамони, и госпожа Вазолли в равной степени достойны поклонения. Первой были поднесены в подарок серьги и браслет, а второй — два браслета.

Был последний вечер сезона. Благодарный тифлиский зритель прощался со своими кумирами и другими исполнителями до следующего сезона.

4 февраля 1854 года, в бенефис г-жи Яблочкиной, ведущей актрисы русской драматической труппы, была представлена пьеса «Русские на походе к турецкой границе» в 2-х актах, сочинение актера Григорьева-первого. Акт первый происходил в тифлиской гостинице Карла Мориджи на Головинском проспекте, акт второй — на Александровской площади.

В октябре 1854 года наместником Кавказа был назначен верный сатрап императора Николая I генерал-адъютант Н. Н. Муравьев. Он стал знакомиться с управляемыми территориями, с органами местного правления, с воинскими частями. Не оставил он своим вниманием и Тифлиский театр, где сидел в первом ряду в середине партера.

Рассказывают такой случай. Шла опера «Фауст». Воинов на сцене играли солдаты из расположенного поблизости саперного батальона. Когда они прошли по сцене, четко отбивая шаг, генерал громко похвалил их: «Молодцы!».

Финал получился неожиданный. «Рады стараться, вассал-превосходительство», — дружным хором ответили воины Валентина грозному ценителю военной муштры.

Зрители опешили, не зная, как реагировать. Замешательство разрядил гомерический хохот галерки, хохот перекинулся в ложи и партер.

Первым пришел в себя дирижер. Он подал знак оркестру и несколькими «форте» закончил акт. Занавес опустился.

На следующем акте Муравьева в зале не было.

Буквально через неделю наместник Муравьев, сославшись на начало военных действий с Турцией, одним росчерком пера закрыл все тифлиские театры, приносившие в течение многих лет радость и пользу многонациональному городу. В связи же со смертью Николая I был объявлен всеобщий траур и все театры Российской империи были закрыты до особого распоряжения.

В связи с этим дирекция театра вынуждена была окончательно рассчитаться со всеми артистами и служащими. Это касалось в равной степени как грузинской и русской драматических трупп, так и балетной труппы и итальянской оперы.

Некоторые итальянские артисты получили пособие и уехали на родину, а другие, владевшие каким-либо ремеслом, остались в Тифлисе, открыли мастерские и лавки. Один из лучших комических певцов Иосиф Вилла открыл поблизости от Караван-сарая роскошный магазин шляп. Дела его шли хорошо, местные модницы считали своим долгом покупать шляпки только у него. Позже Вилла стал торговать и музыкальными инструментами, в том числе фортепьяно и роялями итальянских, французских и венгерских фирм, а также сдавать музыкальные инструменты напрокат гастролерам и местным любителям музыки.

Дела у Виллы шли настолько хорошо, что он позже дважды делал попытки заполучить антрепризу итальянской оперы, однако это ему не удалось, поскольку Муравьев был непреклонен.

Одна из девиц Вазолли вышла замуж за дирижера Шеннига и навсегда осталась в Тифлисе (это была прабабушка известной грузинской кинсактрисы Нато Вачнадзе).

Судьба других оставшихся в Грузии артистов была менее интересной и удачной.

На Михайловском проспекте был открыт магазин-мастерская под названием «Микеланджело», где изготовлялись художественные рамки для картин. На этом же проспекте

была мастерская по художественному оформлению надгробных камней, принадлежавшая Андриолетти, Вилли и Рицци. В конце проспекта, напротив сада «Муштайд», находились сады, взятые итальянцами в аренду. Время от времени они превращались в арену народной борьбы. Газеты тех лет констатировали, что «золотой век тифлисской сцены, как и все золотые века, миновал» с закрытием Тифлисского театра.

Через два года Муравьев был отозван и на его место назначили человека весьма прогрессивных взглядов — генерал-адъютанта князя Барятинского, пользовавшегося большим влиянием при дворе, друга детства нового императора Александра II. С его приездом в Тифлис вновь начинается театральное искусство. Из Италии были приглашены лучшие оперные артисты. Антрепризу вел известный дирижер Антонио Торезелла, который на протяжении более пятнадцати лет руководил до этого оркестрами в ведущих театрах Италии, а в Венецианском театре Ля Фенича поставил оперу Мейербера «Гугеноты», заслужив похвалу самого композитора, присутствовавшего на премьере.

В эти годы в Тифлисском театре начинает свою блестящую карьеру Тереза Штольц, впоследствии близкий друг Джузеппе Верди.

С большим успехом выступали и другие артисты труппы: тенор Массини, певший до этого не только в Италии, но и в ведущих театрах Европы, баритоны: Брианни, звезда итальянской оперы, и Беталлини, приобретший славу во многих итальянских и испанских театрах, бас Бонафос, певший в течение десяти лет в Миланской опере, и другие.

В конце пятидесятых годов часто устраивались благотворительные спектакли в пользу артистов итальянской оперы. Программы этих спектаклей носили оригинальный характер. Особенно следует упомянуть о двух концертах-бенефисах, состоявшихся 15 и 31 января 1858 года.

В первом концерте, бенефисе Понтиролли, исполняли первый акт оперы «Ченерентола», отрывки из оперы «Луиза Миллер», второй и третий акты «Севильского цирюльника», но... все сольные женские партии исполняли мужчины, а мужские — женщины. Публика этого не знала и вначале была в недоумении, но когда вскоре все прояснилось, это вызвало общее веселье, шутки и смех.

Публику ожидал еще один сюрприз. В спектакле под именем бенефициантки Черентолли инкогнито выступила кумир прошлых сезонов Аделаида Вазолли-Шенинг.

Во втором концерте, бенефисе Леонильды Феррари, исполняли второе действие оперы «Трубадур», четвертое действие оперы «Роберт-Дьявол», дуэт из «Любовного штифта» и другие, а в конце вечера на сцене под звуки торжественных аккордов появилась Леонильда Феррари, одетая в грузинское национальное платье, и с большим вдохновением спела на грузинском языке в подчеркнуто национальном характере грузинскую песню (музыка Сагинашвили, слова князя Георгия Эристави).

Выступление Феррари вызвало не только восторг и ликование зала, но вылилось в проявление искренних дружественных чувств как к итальянскому музыкальному искусству, так и к народу Италии.

По настоянию публики Феррари исполнила грузинскую песню еще раз, а после концерта под нескончаемые аплодисменты молодежь понесла ее на руках от театра до дома.

1 января 1859 года в пользу примадонны Кини-Орландини были поставлены отрывки из оперы «Риголетто» и водевиль В. Соллогуба «Хочу певицей стать». Была использована музыка из разных опер. Действие происходило в просторном доме Тер-Гукасова, где проживали многие итальянские артисты. Персонажами были выведены реальные лица: хозяин дома Минас Тер-Гукасов, его дочь, итальянские певцы Викки и Вилла. Их играли итальянские артисты. В спектакле участвовали также Кини-Орландини и Кикнадзе (артист грузинского драматического театра), который исполнил роль хозяина дома.

11 октября 1874 года шла опера «Норма».

Ярко освещенный зал театра был полон, а у входа в здание еще толпились желающие попасть на спектакль.

В тот вечер из артистов, участвовавших в спектакле, раньше всех в театре появился тенор Цукки, исполнявший партию Полиона. Он тщательно оделся, загримировался. Были готовы к выходу на сцену и другие артисты. Но спектакль задерживался, опаздывала примадонна Панинни. Но вот она появилась, быстро отвечая на приветствия, вбежала в театр и направилась в свою уборную, где лихорадочно стала переодеваться. Едва она дотронулась до ящика с гримом, как в коридоре раздался полный ужаса крик: «Пожар!!!»

Впоследствии стало известно, что пожар возник в одном из магазинов Караван-сарая. Огонь молниеносно распространялся. Пламя перекинулось на зрительный зал, и через некоторое время огонь охватил уже все здание Караван-сарая.

Испуганные артисты выскакивали на площадь в рыхлых одеяниях, некоторые волокли свой гардероб. Оркестрант Фиделли уже в который раз, рискуя жизнью, обгоревший, спас инструменты и ноты, швеям Ферарри и Дума удалось вынести часть гардероба...

Весь город сбежался на Эриванскую площадь. Горстка пожарных, выкатив одноконные бочки для подвоза воды и ручные насосы с кишками, а также добровольцы из публики тщетно пытались потушить огонь, пожиравший театральное здание...

За несколько часов пожар поглотил великолепное творение Скудиери и Гагарина. Тифлисский театр погиб. Пламя уничтожило костюмы, декорации, бутафорию, библиотеку.

Там, где недавно царило веселье и лились божественные звуки музыки, стояли обгоревшие скелеты стен.

К счастью, человеческих жертв не было.

Однако с гибелью Караван-сарая театально-музыкальная жизнь города не прекратилась. Город постепенно приходил в себя от потрясения, и театральная жизнь стала перемещаться в малые залы и на открытую эстраду в функционировавших с 50-х годов городских садах «Муштаид», «Сан-Суси», «Монплеzir», «Кин-Грусть», где вначале ставились отрывки из оперных постановок и камерные концерты-вечера с участием итальянских артистов.

Интерес к этим постановкам вынудил дирекцию театра и местные власти на перестройку летнего театрального здания в Инженерном саду, известного впоследствии как «театр на Водовозной улице», где уже через год, в 1875 году, была поставлена любимая тифлисцами опера «Норма».

К концу семидесятых годов итальянская опера прекращает свое существование, уступив место музыке Вагнера и русской опере.



Короткая, но яркая жизнь

ГОГИ (Гоглико) Чоговадзе было всего девятнадцать лет, когда он погиб 27 мая 1984 года на Тбилисском море вместе со своими товарищами-студентами, братьями Гогитой и Кахой Чхаидзе: он бросился на выручку Гогите, который пытался спасти своего младшего брата.

Он, как и его погибшие друзья, был человеком сильного духа и развитого интеллекта. В сферу его интересов органично входили сокровища грузинской и русской культур, восточная поэзия, западноевропейская литература, со многими образцами которой он, владея английским языком, знакомился в оригинале.

Он учился в Тбилисском медицинском институте, увлеченно занимался спортом. И размышлял: о назначении человека, его долге перед народом, о совести и, конечно, о любви. В его рукописях есть такие строки, написанные по-русски: «День прошел и наступили сумерки... Но когда я думаю о тебе, мне видится солнечный, радостный день,

один лишь день, полный счастья, блаженства и любви». И еще: «Люби меня за радость встреч и просто радость бытия... За одержимость и за гнев, за блеск в глазах и просто за любовь к тебе...»

И еще он писал: «Родину славят не за пиршественным столом с рогом в руке, а делами...»

Он мог бы многое сделать в будущем... Его «Двадцать два эюда» о грузинской литературе готовит к печати издательство «Сабчота Сакартвело». Одна деталь из его короткой биографии: Гоги был капитаном яхты, которую он должен был вести из Кутаиси к устью Риони на встречу с новыми аргонавтами. Узнав о его гибели, Тим Северин в телеграмме соболезнования вице-президенту АН ГССР Г. Н. Джибладзе высказал желание предпослать своим книгам об экспедиции на «Арго», которые выйдут на грузинском и русском языках, посвящение погибшим юношам.

Софья ГВЕЛЕСИАНИ —



ДЕТИ — НАША НАДЕЖДА

В ТБИЛИСИ прошло заседание советов Госкомиздата СССР и Союза писателей СССР по детской и юношеской литературе.

Нет у советского общества заботы более важной, чем дети — наша надежда, наше будущее. Сознание ответственности за судьбу поколения, вступающего в жизнь, за воспитание юных граждан достойными продолжателями славных дел их отцов и дедов собрало в столице Грузии представительный форум.

В Тбилиси приехали известные писатели, издатели, представители научно-педагогической общественности, журналисты.

В работе заседания, которое состоялось в Доме кино, приняли участие заместитель Председателя Совета Министров Грузинской ССР О. Черкезия, заведующий отделом пропаганды и агитации ЦК КП Грузии Н. Энделадзе, первый секретарь ЦК ЛКСМ республики В. Лордкипанидзе.

Заседание открыл начальник Главного управления республиканских и областных издательств Госкомиздата СССР М. Шишигин.

С докладом «Детская литература — школе» выступил секретарь правления Союза писателей РСФСР, член-корреспондент Академии педаго-

гических наук СССР, лауреат Государственных премий СССР и РСФСР и премии Ленинского комсомола А. Алексин.

В завершение своего выступления А. Алексин сказал: «На апрельском Пленуме Центрального Комитета нашей партии Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев говорил: «...Жизнь, ее динамизм диктуют необходимость дальнейших изменений и преобразований, достижения нового качественного состояния общества, причем в самом широком смысле слова». Решать эти благородные, огромной важности задачи уже завтра и послезавтра предстоит тем, кого мы именуем сегодня дошкольниками и школьниками, — нашим юным читателям. Пусть же художественная литература поможет им вырасти вдохновенными создателями, бесстрашными, идейно убежденными борцами за ленинские идеалы!».

В выступлениях других ораторов говорилось о необходимости того, чтобы детская литература выражала свое отношение к социально-общественному поведению юных, показывала роль пионерской и комсомольской организаций, не уходила от освещения острых проблем, одним словом, художественно ярко рисовала жизнь современной молодежи во всей ее многогранности.

С МЫСЛЬЮ О БУДУЩЕМ

В ПИОНЕРСКОМ городке «Мзиური» столицы Грузии прошли торжества, посвященные закладке Дворца детской книги.

На месте, где будет воздвигнут дворец, состоялся митинг, на котором присутствовали участники заседания советов Госкомиздата СССР и Союза писателей СССР по детской и юношеской литературе, юные читатели.

Митинг открыл председатель Госкомиздата Грузинской ССР В. Бакрадзе.

С волнующим событием рождением центра детской книги юных читателей ^{собратьев} по перу поздравили директор издательства «Накадули» поэт М. Поцхишвили, секретарь правления Союза писателей РСФСР, лауреат Государственных премий СССР и РСФСР, премии Ленинского комсомола А. Алексин, писатель А. Лиханов, а также секретарь ЦК ЛКСМ Грузии М. Хачидзе.

На митинге в честь закладки Дворца книги присутствовали товарищи Г. Габуния, Г. Енукидзе, О. Черкезия.



Сдано в набор 21.VI.85 г. Подписано к печати 13.VIII.85 г. Формат 84×108¹/₃₂. Высокая печать. Печ. л. 7,0—усл. печ. л. 11,97, Уч.-изд. л. 14,0. УЭ 08060. Тираж 5.600 экз. Заказ 1409. Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5. Телефон 99-06-59.

Главный редактор Т. П. БУАЧИДЗЕ

Редакционная коллегия:

Ч. И. АМИРЭДЖИБИ, Э. Г. АНАНИАШВИЛИ, Р. Н. АСАЕВ, А. Н. БЕСТАВАШВИЛИ, Х. Л. ГАГУА, А. Н. ГОГУА, Э. В. ЕЛИГУЛАШВИЛИ, М. И. ЗЛАТКИН, Н. Г. КАРАШВИЛИ (ответственный секретарь), Г. Г. МАРГВЕЛАШВИЛИ, В. Г. МАЧАВАРИАНИ, Л. Ш. СТУРУА, Г. В. ХАРАИДЗЕ (заместитель главного редактора), Г. Ш. ЦИЦИШВИЛИ.

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ
Тбилиси, ул. Ленина, 14.

65 к.

ИНДЕКС 76117

86-85

85-37

ОБРАЗОВАНИЕ
И НАУКА

